

Ромен Гари.
Свет женщины

Ромен Гари. Свет женщины
Romain Gary. Clair de femme

Перевод французского Н. Калягиной
OCR Anatoly Eydelzon

Глава I

Я выходил из такси и, открывая дверцу машины, чуть не сбил ее с ног; пакеты, которые она держала в руках: хлеб, яйца, молоко, - посыпались на тротуар, - так мы и встретились впервые, под мелким, уныло морозящим дождем.

Ей, пожалуй, было столько же лет, сколько и мне, или около того. Казалось, черты ее лица лишь в обрамлении седых волос приобрели наконец некую завершенность, годы подчеркнули и оттенили то, что молодость и природное изящество только робко наметили. Похоже, она запыхалась, как если бы бежала, боясь опоздать. Я не верю в предчувствия, но уже давно потерял веру и в свое неверие. Все эти "я в это больше не верю" - те же убеждения, причем самые обманчивые.

Я кинулся собирать то, что еще уцелело, и чуть не упал. Выглядел я, наверное, довольно комично.

- Оставьте...

- Мне жаль, очень... Простите...

Она рассмеялась. Морщинки разбежались вокруг глаз, выдавая возраст, теперь четко обозначившийся.

- Право, пустяки. Что упало, то пропало, мне же легче...

Она уже собралась идти дальше, и я испугался худшего: разойтись вот так, как воспитанные люди, соблюдая правила приличия...

И тут, как нельзя более кстати, подоспел шофер такси. Он обратился ко мне, вежливо улыбаясь:

- Извините, месье, мне нужна улица Бургонь...

- Но... мы как раз на ней и находимся.

- Бар на углу улицы Варен, не подскажете?

- Так вот же он.

- Ну и? Платить-то собираетесь, или как?

Я порылся в карманах. Франков у меня не было. Я все обменял в аэропорту, и, когда попытался заплатить долларами, мне тут же напомнили, что "мы здесь во Франции, между прочим". Я не знал, что делать, и эта женщина с седыми растрепавшимися волосами, в широком сером пальто, выручила меня: заплатила по счетчику, потом, обернувшись, заметила, скорее с иронией, нежели с участием:

- Похоже, вам не слишком везет...

А я-то полагал, что со стороны это незаметно. Я не носил летнюю форму капитана, но мне всегда удавалось сохранять в глазах пассажиров и своего экипажа спокойный вид человека, у которого все под контролем и который привык к возвращениям издалека. Внешне я всегда был крепким, подтянутым: широкие плечи, твердый взгляд. Но теперь я буквально таял на глазах;

сегодня, однако, и на проколотых шинах можно проехать сотни километров.

- Вы правы, мадам, сейчас тот самый момент, когда в старых добрых романах шли к священнику, и по возможности - к незнакомому.

Развеселить ее мне не удалось. Взгляд мой молил о милости, и она не могла этого не почувствовать. Никогда раньше мне не приходилось оказываться в столь затруднительном положении. Когда я спросил потом у Лидии, о чем она подумала в те первые минуты, она призналась: "Я подумала, что одолжила сто франков какому-то проходимцу, к тому же совершенно пьяному, и что я могу с ними распрощаться". На самом же деле жизнь выбросила нас за борт, ее и меня, и произошло то, что почему-то всегда называют встречей.

- Послушайте, я должен возместить вам убытки...

- Какие мелочи...

- Я выпишу вам чек, если позволите...

Я возвращался из Руасси¹. В начале дня я отправился туда на такси, чтобы лететь в Каракас, как и задумал. Я устроился в углу, лицом к стене, надвинув шляпу на глаза, и так и сидел там, слушая объявления о вылетах. Я семнадцать лет проработал в "Эр Франс", и большинство экипажей знали меня в лицо, а я хотел уклониться от всех этих встреч и дружеских расспросов: "Что это ты, никак летишь пассажиром? Подумать только, полгода отпуска, не много ли? А Янник? Ты теперь отдыхаешь без нее?" Я находился в таком замешательстве, что любое мое решение тут же реализовывалось в действии, совершенно противоположном. Я прослушал объявление о посадке на рейс в Каракас, прошел через зал ожидания, сел в такси и дал шоферу наш адрес на улице Вано. Спихватился я как раз вовремя и попросил высадить меня у бара на углу. И то это было слишком близко. Мы жили в этом квартале не первый год, и меня могли узнать. "В котором часу вы от нее ушли?" - В три. Я собирался лететь в Южную Америку, и мой самолет... - Вас видели на улице Варен в семнадцать двадцать. - Да, я вернулся. - И вы не зашли домой? Вы ведь были всего в двух шагах оттуда. - Нет, я собирался, но передумал. И потом, мы уже договорились... - О чем же? - Мне не в чем себя упрекнуть. Что мне еще было делать? - В подобных случаях, сударь, оставаться в живых - это низость. Достойнее пустить себе пулю в лоб". В этих внутренних диалогах я всегда подтрунивал над самим собой. Однако если мне выпало жить дальше, и не один год, придется привыкнуть к таким допросам, и чем скорей, тем лучше. Вряд ли они прекратятся в ближайшее время. И все же единственное, в чем я мог себя упрекнуть, так это в том, что не сел в самолет. Я не был убийцей, который прокрадывается на место преступления; место... да наш голубой шарик так давно вертится вокруг Солнца, что всем нам даст форы по части преступлений.

Мы стояли под дождем среди валяющихся на земле продуктов.

- Вот, пожалуйста, нам уже трудно расстаться, - сказал я.

Она рассмеялась, и от прорезавшихся морщинок лицо ее стало совсем добрым.

Кафе называлось "У Ариса", У стойки был человек, очень элегантный, в пальто из верблюжьей шерсти и в борсалино, он держал на поводке серого королевского пуделя, стриженного как регулярные парки Ленотра². По какому-то странному совпадению, случайность которого, впрочем, сомнительна - кто знает, может, в этих музыкальных ящиках все подстроено, чтобы посмеяться над кем-нибудь или, напротив, угодить, - словом, один подросток все же попытал счастья, рискнув парой монет, и теперь слушал что-то шопеновское.

- Думаю, нам стоит поговорить, иначе все уходит слишком быстро и

неизвестно куда, и потом приходится возвращаться... "Не понимаю, что я делаю в этом кафе с совершенно незнакомым человеком", так?

- Да.

К нам подошел официант.

- Два кофе со сливками, - заказал я и повернулся к ней: - Ну вот, теперь у нас есть повод остаться.

Она улыбнулась, немного жестко:

- Я только жду обещанный чек, ничего больше.

- Бог мой...

Я достал из дорожной сумки чековую книжку:

- На чье имя?

- Поставьте: на предъявителя...

- Все же я хотел бы знать ваше имя, на всякий случай...

- Лидия Товарски.

Человек с пуделем подвинулся ко мне:

- Извините меня, месье... мадам... - Он раскланялся с нами, клоунским жестом сняв и водрузив обратно на макушку свою шляпу. - Я дрессировщик собак и... у меня такое впечатление...

- Лас-Вегас, тысяча девятьсот семьдесят пятый год, - помог я ему.

Казалось, он обрадовался:

- Вы исполняли номер...

- Нет, я был барменом в "Сенде".

- Ах да, теперь припоминаю... - Он протянул мне свою визитку: сеньор Гальба, адреса агентств в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. - Когда постоянно путешествуешь, под конец уже никого не узнаешь...

Я не отвечал. Он понял, сразу как будто забыл все, чем хотел поделиться, опять раскланялся и вернулся к своему пуделю, ожидавшему его у стойки бара.

- Бармен, в Лас-Вегасе в семьдесят пятом, - что вы там делали?

- Ничего. Я там не был. Просто ему нужно было встретить кого-нибудь знакомого, этому бедолаге...

Она посмотрела на меня с любопытством, но в то же время строго:

- Когда так быстро ставят диагноз одиночества незнакомому человеку...

- Не будем увлекаться подобного рода откровениями, мадам, - ответил я с подчеркнутым достоинством.

Она опять рассмеялась, разгоняя смехом окружавших меня призраков.

- ...Я говорю "мадам", чтобы еще раз показать, что держусь в рамках приличия... Мы с вами совершенно друг другу чужие, мадам, и можете не сомневаться, я нисколько не преувеличиваю значимость этих двух чашечек кофе... Только что на улице я вас нечаянно толкнул, выходя из такси, ну и...

- А вы забавны.

- Если бы я только мог развеселить вас хоть на несколько мгновений, мне стало бы легче: давать поводы для смеха - по-моему, это самый щедрый дар. А как вы, все в порядке?

За окном одна за другой проезжали машины - верно, улица с односторонним движением, - и день стоял серый и унылый. Дрессировщик собак очень быстро набирался в баре, так что вскоре ему вообще никто не будет нужен. Пудель смотрел на него с мучительным беспокойством: не так-то просто понять человека.

Мы молчали, и вот что важно: наше молчание не становилось невыносимым. Мне казалось, что вид у нее какой-то потерянный, но, может быть, мне всего лишь нужно было на что-то надеяться.

- Извините меня, - начал я. - Я не... Я только...

- Да, я вижу. Я, знаете, немного разбираюсь в приступах тоски и отчаяния. Представьте, я изучила эту науку. Я потеряла мужа и мою девочку полгода назад в автомобильной аварии. Что ж, полагаю, теперь мы можем расстаться. - Она протянула мне руку в перчатке: - Не унывайте. Все еще, может быть, образуется.

- Я думаю вернуться во Францию к началу года и, если вы позволите...

- Да, конечно. Далеко вы?

- В Каракас.

Она долго искала в сумочке, но так и не нашла ни чем, ни на чем записать. Я сходил в кассу за ручкой, и она написала: "Лидия Товарски", адрес и телефон на розовом листке оплаченного счета, шесть франков с мелочью, включая чаевые. Я положил листок себе в карман.

Она мило улыбнулась мне на прощание, как бы говоря, что теперь мы в расчете, и вышла. Я не был уверен, что хорошо запомнил лицо, и догнал ее на улице. Она обернулась, вопросительно глядя на меня.

- Нет, ничего. Это чтобы узнать вас в следующий раз...

Белые, довольно длинные, по плечи, волосы она не убирала, а носила распущенными, не знаю уж потому ли, что чувствовала себя молодой, или в память о своей молодости. Высокие, выступающие скулы; черные, необычно широко посаженные глаза, сияющие из глубины своей царственной тени; глубокая морщинка на переносице рассекала посередине прямую линию бровей, покоясь на них, как тело птицы на расправленных крыльях.

Она легко, по-дружески, положила ладонь мне на руку:

- Вам нужно вернуться домой и поспать. Позвоните мне как-нибудь, когда мы оба возвратимся из тех дальних стран, где сейчас находимся.

Подъехало такси, и все было кончено.

Что ж, по крайней мере полчаса убил.

Я вернулся в кафе. Ее незанятый стул сиротливо пустовал. На сиденье стояла пепельница. Мой знакомый из Лас-Вегаса все еще находился у стойки, и я решил угостить его чем-нибудь для поднятия настроения. Кальвадос, к примеру, или тот же коньяк. Это его пальто верблюжьей шерсти с поднятым воротом, старое борсалино с широкими полями, вызывающе небрежно надвинутое на правую бровь, волосы, крашенные с особой аккуратностью, чтобы не задеть серебро седины на висках, - словом, он лет на тридцать был старше тех образов, которые первыми запечатлелись у меня в памяти: Бутатти, Делаж3, кинозвезды Джина Манес и Жан Мюра. Внушительный нос, прямо-таки мефистофелевский, с горбинкой, и могучие ноздри. Черные оливки его глаз отражали лишь дряхлость Казановы, и по контрасту с пассивной тоскливостью взгляда нос его словно выдавался вперед, как бы в поисках подкрепления. В "Клапси" он исполнял номер с дрессированными собачками и завтра, вместе со своей труппой, состоявшей из ассистента, шимпанзе и восьми пуделей, должен был отправиться в турне по Мексике и Южной Америке.

- Это всемирно известный номер. Годы и годы творческих усилий... Труд всей жизни. К сожалению, у меня постоянно сложности со страховкой. Видите ли... - Он приложил руку к сердцу. - Три микроинфаркта. Смерть.

- Как вы сказали?

- Это по-сербски: смрт. Я говорю на семи языках и должен вам заметить, что у славян, пожалуй, самое подходящее название для этого... Смерть по-сербски, смерть по-русски, смьерчь по-польски... Есть в этом что-то змеиное... У нас, на Западе, совсем другие звуко сочетания, более благородные, что ли: la mort, la muerte, todt... Но смрт... Будто какая-то

мерзкая тварь ползет по ноге... еще опасней, чем ядовитый скорпион, И потом, думаю, все мы уделяем слишком много внимания этому ничтожному факту.

- В английском death тоже есть нечто шипящее, - заметил я.

- Точно. Так что же вы делали после Лас-Вегаса?

- Я никогда не был в Лас-Вегасе.

- Да? Значит, это был кто-то другой и где-то в другом месте. Неважно, встречи - это всегда приятно. Приходите сегодня посмотреть мой номер в "Клапси". Я скажу, чтобы оставили для вас столик. Не каждый день встречаешь старых знакомых... Или заходите после, поужинаем. А? Вот моя визитка.

- Вы мне уже дали одну.

- Я живу неподалеку: отель "Крийон" на улице Искусств. В половине первого ночи антракт между двумя отделениями, а мой выход сначала в одиннадцать вечера, а потом в час. Не сомневаюсь, что там даже будут какие-нибудь наши общие знакомые...

- Я улетаю сегодня.

- Куда?

- В Каракас.

Совсем рядом какой-то молодой человек спросил телефонный жетон. Нет, о том, чтобы позвонить, и речи нет. Не могу я признаться, что не улелел, да еще и нахожусь поблизости.

- Приятная дама, ваша спутница. Не хочу показаться нескромным... но со стороны это выглядело как разрыв.

- У вас наметанный глаз.

- О, это было не сложно. Я сразу сказал себе: это долго не продлится.

- Верно. Cheers4.

- Ваше. Официант, повторите. Я знал столько женщин в своей жизни, что, можно сказать, всегда был один. Слишком много - все равно что никого.

- Глубокое замечание.

- Это как раз и навело меня на мысль сделать свой номер... Вы должны посмотреть, он того стоит.

- Как-нибудь, обязательно.

- К сожалению, в скором времени мне придется уйти со сцены. Эта страховка, такая подлая вещь. Они кидают вас при первом же удобном случае. Единственное, что меня беспокоит во всем этом, - мой Матто Гроссо5.

Королевский пудель навострил уши и поднял серую лысеющую морду.

- Вы, наверное, заметили, что он не сводит с меня глаз? Как будто понимает, что меня тревожит.

- Смрт, - сказал я.

- Точно. Он боится остаться один. Собаки всегда так тоскуют. А знаете, может, он еще умрет раньше меня, в его-то годы... Ему скоро четырнадцать.

- Ну да! И давно вы вместе?

- Тринадцать лет. Он жил у одной женщины, которую я очень любил. Она ушла с каким-то каскадером, мальчишка, двадцать два года, - они любят проявлять заботу о начинающих, это понятно, - и оставила мне Матто Гроссо, чтобы я не чувствовал себя таким одиноким... Он не состоит у меня в труппе: он не артист, просто друг. У меня всего восемь пуделей и шимпанзе. Жаль, что вы уезжаете...

Он порылся в своем портфеле и вытащил еще одну визитную карточку...

- Вы мне уже дали одну, - повторил я.

Он рад был любому лишнему подтверждению собственного существования.

Он вздохнул. Расплатился в баре. Мы долго жали друг другу руки на прощание.

- Может, еще встретимся где-нибудь... Очень рад был вновь повидать вас. Очень.

- Я тоже.

Я вышел и направился к стоянке такси. В машине достал из кармана листок и назвал шоферу адрес. У меня случались моменты паники, совершенной пустоты, эхо чьих-то смеющихся голосов, вспышки воспоминаний; усталость раскапывала завалы памяти, время от времени вытаскивая на поверхность сознания обрывки прежнего счастья. Но в основном - тоска, и еще угрызения совести. Каждая минута казалась вырванной из другой, погребенной жизни. Я снял сперва часы, положил их в карман, но стало только хуже. Тогда я снова закрепил браслет на запястье. Было шесть вечера. Я даже не мог понять, то ли все еще только начиналось, то ли, напротив, все было кончено. В данный момент я должен был бы находиться высоко в небе, над Атлантикой, и, наверное, мы бы уже были довольно далеко, в том месте, которое пилоты обычно называют точкой невозврата.

Старое здание на улице Сен-Луи-зан-Лиль. На почтовом ящике ее имя и надпись: четвертый этаж, налево, Я поднялся по лестнице. Красный половичок, суккуленты в горшках.

Она открыла дверь, холодно смерила меня взглядом:

- Я ожидала чего-то в этом роде. Входите.

Гостиная была очень светлая. С улицы в окна заглядывали рослые каштаны. В комнате стояли цветы, но не в букетах, - должно быть, она покупала их сама. Из соседней комнаты доносилась мелодия индейской флейты, разбавляя одиночество. Задыхающиеся, вымученные звуки, выдуваемые легкими туберкулезника. Она взяла у меня плащ, дорожную сумку, шляпу и куда-то их унесла. Я осмотрелся: на стенах не было фотографий, наверное, она прятала их где-то у себя. Я сел в серо-зеленое плюшевое кресло. Она вернулась, но садиться не стала.

- У вас нет собаки? - спросил я. - И не надо. Она вряд ли смогла бы вам чем-нибудь помочь. Сейчас все заводят собак. Огромный на них спрос, больше, чем когда-либо. Правда, я об этом в газете читал.

Она рассматривала меня очень внимательно, можно сказать, как врач пациента. Интерес вполне оправданный, если принимаешь у себя незнакомца со всеми внешними признаками потерпевшего кораблекрушение. Должно быть, она задавалась вопросом, были ли еще оставшиеся в живых после этой катастрофы.

- Вы похожи на человека, которого всю ночь допрашивали на набережной Орфевр. И, естественно, у вас нет алиби. Конечно, это не так, но близко к тому. Вас... преследуют?

- Именно.

- Там, в кафе, я с вами разоткровенничалась. И вы прицепились к первому же повстречавшемуся несчастному. Видите? У меня тоже не так уж весело. Если вас это утешит.

Я смотрел в пол, на синий палас под ногами. Мне хотелось все ей рассказать.

- Вы помните моего друга из Лас-Вегаса, того " в баре? Со старым серым пуделем? Его зовут сеньор Гальба, и он коллекционирует инфаркты. Он очень беспокоится о своей собаке. Боится, что его любимец останется один. Пес не сводит с него глаз, будто знает, в чем дело. Вот сеньор Гальба и набирается под завязку, а собака с тревогой за ним наблюдает... Я подумал, что это может вас заинтересовать.

- О, да! Вы обратились как раз по адресу. У меня магазинчик всяких редкостей на улице Бургонь. Но, к сожалению, мне некуда вас поставить. Вы

займете слишком много места.

Когда она улыбалась, вместе с улыбкой возвращалась жизнь: должно быть, в прошлом она была счастлива, и довольно долго.

Она прошла в соседнюю комнату, поставила заново ту же пластинку и усилила громкость, как если бы хотела отдалить меня, потом вернулась.

- По-сербски это называется смрт и значит почти то же самое, что и ваша индейская флейта. Это мне сеньор Гальба рассказал, он ко всему прочему еще и полиглот. Теперь вы все знаете, и я могу идти...

Я подождал немного, но она не отвечала.

- Я не пьян. Просто я люблю одну женщину... Как нам случается любить... иногда. Кажется, мне нет необходимости что-либо объяснять вам, вы понимаете: мы с вами где-то одного возраста...

- Мне сорок семь.

- Сорок три, - поправил я. Она как будто даже покраснела:

- Как вы узнали?

- Мы всегда все преувеличиваем. Говорим, что все кончено. Слушаем заунывные мелодии индейской флейты. Живем одни, чтобы доказать, прежде всего себе, что можем. И все же смотрим на первого встречного, как если бы все еще можно было начать сначала. Я бы добавил еще вот что: недостаточно быть несчастными порознь, чтобы обрести счастье вместе. Два отчаяния, повстречавших друг друга, вместе могут составить одну надежду, но это лишь еще раз доказывает, что именно надежда способна на все... Я не за милостыней сюда пришел...

Я лгал, и моя ложь была лишь еще одним способом просить подаяния. Она направилась к двери, я последовал за ней. Взял свои вещи. Она протянула мне руку.

- Надеюсь все же, что мы еще встретимся, - сказал я очень вежливо.

- Все возможно.

- Я должен вам объяснить...

- Ничего вы мне не должны. И потом, я все узнаю из завтрашних газет.

Я вышел. Она смотрела мне вслед, и я чувствовал, что она вот-вот расплачется.

- Странно, вы не похожи на подлеца, - сказала она сорвавшимся голосом и захлопнула дверь.

Мне следовало бы быть настойчивее. Она подала бы мне что-нибудь, непременно.

Глава II

В аэропорту я пролистал свой паспорт. В этом году я уже побывал в Африке, в Австралии, в обеих Америках, и мои визы были еще действительны. Я прислушивался к голосу невидимых стюардесс, не зная, что выбрать: рейс в девятнадцать пятьдесят пять на Камерун, в двадцать три пятьдесят на Эквадор, в двадцать два десять в Бразилию или, наконец, номер в отеле на Монмартре, где я мог бы запереться и спокойно ждать конца. Я выбрал ближайший рейс - девятнадцать пятьдесят пять, Яунде и тропические леса, поменял билет и вернулся на свое место. Бортпроводница, проходившая мимо, как-то странно на меня посмотрела. Наверное, узнала. "Не поверите, только что видела капитана Фолена... Сидит, весь насупился, небритый... Что это с ним?"

"...Я не хочу быть игрушкой, которую разбирают на части, Мишель. Не хочу опускаться до этого. Всегда наступает такой момент, когда вопрос

собственного достоинства встает ребром. Так что уезжай, уезжай как можно дальше, как и обещал. Найди себя и не теряй головы. Не зарывайся в свое несчастье, не думай постоянно обо мне, я не хочу, чтобы память изъела тебя... Я должна тебя оставить. Придет другая, и это буду я. Иди к ней, найди ее, подари ей то, что я оставляю тебе, это должно остаться. Без женщины ты не сможешь прожить эти часы, эти годы, эту скорбь, это безумие, которое так льстиво, так высокопарно называют судьбой. Я желаю так же сильно, как люблю тебя, чтобы ты вскоре встретил ее, надеюсь, она спасет то, что было в нашем союзе, что не может, не должно умереть. Не бойся, это не будет значить, что ты забудешь меня, что тем самым ты „предашь мою память“, как почтительно выражаются там, где чтят только смерть и отчаяние. О нет! Напротив, это будет чествование верности, твердое постоянство, вызов всему тому, что хочет нас раздавить. Утверждение бессмертия. Она должна помочь тебе развенчать несчастье: за века своего существования человечество и так оказало ему много чести. Мы слишком покорно, слишком безропотно склоняем голову перед тем, что с таким безразличием принимает наши жертвы, с таким варварством расправляется с нами. Для меня это вопрос женской гордости. Выживания, если хочешь. Это бунт, сражение за свою честь, нежелание быть попанной. Иди к ней, к моей неизвестной сестре, скажи ей, как она мне нужна. Я, конечно, уйду, но я хочу остаться женщиной..."

Я прослушал объявление о посадке на рейс в Яунде, пошел поменять доллары, и вот я опять на шоссе, в такси, везущем меня в Париж. Говоря шоферу адрес, я машинально добавил: "...четвертый этаж, налево".

Он утвердительно кивнул.

- Точно, скоро так и будет, - пояснил он. - Француз уже не хочет выходить из своей машины. Сейчас для этого, правда, рановато. Но может, там есть лифт.

Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, желая убедиться, что шутка удалась. Я рассмеялся.

Когда мы приехали на улицу Сен-Луи-зан-Лиль, уже стемнело. Я поднялся по лестнице и позвонил. Зря я отпустил такси: мог бы навестить сеньора Гальбу, который тоже ждал меня. Я уже собирался уходить, когда дверь открылась. При виде меня она изобразила насмешливое удивление, как будто кого-то из нас еще волновали эти внешние проявления.

- В чем, собственно, дело, хотелось бы поточнее? Инстинкт охотника? Так вы не там ищете, если вообще стоит где-либо искать... Здесь вы ничего не найдете. Даже спасательного круга...

Я вошел, обнял ее. Ее ногти впились мне в затылок. Она рыдала. Не из-за меня, не из-за себя. Из-за того, чего каждый из нас лишился. Это был всего лишь момент взаимопомощи. Нам обоим нужно было забыться, переждать какое-то время, чтобы потом отправиться дальше нести свой груз небытия. Нам предстояло пересечь эту пустыню, где сброшенная одежда, каждая вещь, что падает на пол, разъединяет, удаляет, ожесточает, где взгляды избегают друг друга, боясь заметить наготу не только тела, где тишина собирает свои камни. Два заблудившихся существа, которые поддерживают друг друга в своем одиночестве, и жизнь терпеливо выжидает, когда это кончится. Отчаявшаяся нежность, которая, в сущности, только потребность в нежности. Иногда мы искали друг друга взглядом в полумраке, чтобы избавиться от неловкости. Фотография маленькой девочки - на ночном столике. Фотография маленькой девочки, которая смеется, - на камине. Портрет, нарисованный, вероятно, по памяти - линии неуверенные, неловкие. То, что было у нас общего, принадлежало другим, но объединяло нас на время этого

бунта, этого краткого сражения, этого неприятия несчастья. Это было не между нами. Но между нами и несчастьем. Нежелание ложиться под колеса, так, что ли. Я чувствовал ее слезы на своих щеках. Сам я никогда не плакал, и она своими слезами доставляла мне некое облегчение. Как только она опомнилась, почувствовав то ли сожаление, то ли угрызения совести, смятение, неловкость, вину, не знаю что" она поднялась, накинула пеньюар, села в кресло и вся съежилась, подтянув колени к подбородку. Еще ни одна женщина не смотрела на меня с такой неприязнью.

- Пожалуйста, уходите...

- Все... сейчас.

Мои вещи валялись на ковре, я стал собирать их.

- Не понимаю, почему я это сделала...

- Маленькое самоубийство, - сказал я. Она попыталась улыбнуться.

- Да, наверное. Вы не должны на меня сердиться. Бывают моменты...

- Слишком много всего, в особенности того, что можно назвать ничем. Мы могли бы еще некоторое время побыть вместе.

- У меня нет никакого желания быть счастливой.

- Кто говорит о счастье, Лидия? Но вот взаимная поддержка...

- Вы прекрасно видели, что я уже... ни на что не гожусь.

- Конечно, если делать это как с седьмого этажа бросаться...

- Не будьте так строги...

- Да что вы!

Я засунул галстук в карман. Так мерзко, когда после этого начинают завязывать галстук.

- Когда это случилось?

- Полгода назад. Но все не проходит... Я иногда думаю, не продлеваю ли это сама... сознательно, чтобы превратить воспоминание в смысл жизни. Ведь не будь этого... я не знала бы, зачем я вообще еще здесь. Были свидетели той аварии. Они говорят, что муж внезапно потерял управление машиной. Но ехал он с нормальной скоростью. Мне не в чем его упрекнуть. Он посадил малышку на заднее сиденье, как делал всегда... Может быть, уже до того между нами все было кончено, и я цепляюсь за это объяснение, чтобы обвинить его...

Она уперлась лбом в колени, и я видел теперь только ее седые волосы. Потом она подняла голову. В глазах опять стояло выражение какой-то забитости.

- В таких случаях нужно уехать куда-нибудь далеко-далеко, - сказал я.

Наконец-то мне удалось выманить у нее легкую улыбку.

- В Каракас?

- Хотя бы.

- Это слишком далеко, слишком внезапно и, как вы сами сказали недавно, потом все равно нужно возвращаться...

Она сходила на кухню за бутылкой виски и стаканом.

- One for the roadб, - сказала она.

- Чин-чин.

Я выпил. Она смотрела на меня с дружеским участием:

- Давно?

- Что?

- Давно вы сиротствуете без женщины? Я взглянул на часы.

- Вот уже скоро век, - сказал я и вышел.

Глава III

Вход для артистов находился в переулке, который заканчивался тупиком, заставленным мусорными бачками, перед заржавленной металлической шторой ателье фотогравюры. Из проекционной доносились автоматные очереди и скрежет тормозов. Откуда ни возьмись, появился, громко мяукая, рыжий кот и стал тереться о мою ногу, подняв хвост трубой. Я почесал его за ушком. Он еще немного повертелся возле меня, а потом куда-то сгинул. Я открыл дверь. Швейцар читал газету о скачках.

- Будьте любезны, мне нужен сеньор Гальба. Он меня ждет.

Тот, совершенно невозмутимо, продолжал выискивать возможных фаворитов. Я ждал, спокойно и учтиво, а он, так же спокойно, не замечал меня. Неоновый свет ложился ему на лицо фиолетовыми пятнами. Закуток у него был метра два на полтора. Рядом с газетой стояла пустая бутылка из-под вина. Какие-то вещи, изношенные и засаленные, тоже ждали своего часа. Прогорклое одиночество потерянных вещей...

- Вы уже пробовали подать объявление? - спросил я.

Он, похоже, был удовлетворен тем, что его поняли.

- До конца по коридору, после кулис, вторая дверь направо. Вы ветеринар?

- Да, но сейчас я спешу. Я еще зайду к вам, попозже.

Навстречу мне попадались какие-то девицы с голой грудью, карлики-каскадеры. Проходя за сценой, я краем глаза заметил раджу в тюрбане: сплетая пальцы, он изображал на экране профиль Киссинджера⁷. Я задержался на минутку, посмотреть: он показывал теперь брата Граучо⁸ с его неизменной сигарой. Театр теней - моя слабость. Я взглянул на часы: ровно одиннадцать. По крайней мере половина пути уже пройдена. Молодой человек с очень длинными волосами и белесой бородкой сидел на стуле, окруженный пуделями. На коленях он держал шимпанзе, обезьяна облизывала палочку от мороженого. Все пудели были белыми, кроме одного - розового. Я остановился.

- Никогда еще не видел розового пуделя.

- Чего люди не придумают. Это краска. Сами можете попробовать.

- А где сеньор Гальба? Он указал пальцем нужную дверь. Сеньор Гальба, совершенно разбитый, утопал в кресле и осторожно вытирал потный лоб платком. Он был во фраке, и в сочетании с манишкой нос его (может быть, потому, что у страха не только глаза велики) становился прежде всего органом предчувствия, предвосхищения, разведывания, а не просто обоняния. Нос сеньора Гальбы был сейчас, что называется, в карауле.

Пудель лежал у ног маэстро, и лысая морда резко выступала из густой поросли серых кудряшек; глаза у него были впалые, с темными кругами. На гримерном столике, ярко освещаемом шестью электрическими лампочками, помещенными над зеркалом, стояло шампанское в ведерке, бутылка коньяка и еще одна, с минеральной водой. Тут же были пузырьки с лекарствами и пепельница, полная окурков. Сеньор Гальба улыбнулся мне, но глаза его смотрели все с той же тревогой: человек, который ждет. Мягким движением руки он любезно указал мне на табурет. Я сел.

- Как в Каракасе? - осведомился он.

- Обещаю, что позабочусь о вашем любимце, - начал я.

Он был пьян, но ему, очевидно, было не привыкать. Он вдруг посмотрел на меня свысока:

- С чего бы? Вам, стало быть, сказали, что это произойдет сегодня?

- Я только хотел ободрить вас.

- Позвольте, сударь, выразить вам мое удивление. Вы входите ко мне с таким уверенным видом и заявляете: "Я позабочусь о вашем любимце", как если бы знали - из достоверного источника! - что сегодня я выйду на сцену в последний раз. Там, в коридоре, вы... кого-то встретили?

- Да вроде никого.

- Ну конечно. Я так привык к этим порядкам в мюзик-холле, что все время боюсь опоздать: третий звонок, вовремя выйти на сцену, потом уйти, продолжительность номера, режиссер в кулисах, беспощадно уставившийся на свои часы...

- Послушайте, Гальба, я только сказал, что позабочусь о вашей собаке. Теперь вы можете умереть спокойно. Все будет в порядке.

- Вы что, издеваетесь надо мной? Знаете вы кого-нибудь, кто умер бы спокойно?

- Но ведь это может случиться и во сне, не так ли?

- Соло9, - ответил он. - Только этого мне и не хватало. Теперь я вообще глаз не сомкну. Кстати, Матто Гроссо отличный сторожевой пес. Я уверен, что он поднимет лай.

- Ваш номер... не знаю, как вы справитесь в таком состоянии.

- Ничего не остается. Жизнь, смерть... - Властным жестом он смел эти мешавшие ему пустяки. - Я просто говорю все, что должно быть сказано по этому поводу... Вы в этом убедитесь. Хорошо еще, что меня не понимают; иначе давно бы уже освистали и выгнали со сцены. Публика сочла бы себя оскорбленной. Она не терпит, когда с таким пренебрежением относятся к столь серьезным вещам. Что вы хотите, мы, великие артисты, все до единого обречены нести в себе свое послание, как закупоренная бутылка в открытом море. К тому же и моря-то больше нет, остались одни бутылки. У меня есть ассистент, Свенссон, Свен Свенссон - запомните это имя - молодой швед, он пишет диссертацию по философии в Упсальском университете о моей жизни и творчестве. Я вам весьма признателен, что вы отложили свою поездку, решив навестить меня. Вот что значит настоящий друг.

- Я стараюсь убить время, вот и все, - возразил я. - Вы позволите, мне нужно позвонить.

Он со спокойной учтивостью указал на телефонный аппарат и поднес ко рту бутылку с коньяком. Пудель не сводил с него глаз и дрожал. Я подошел к телефону и набрал номер. Никто не отвечал. Я нажал на рычаг, прерывая связь: больше я уже ничем не мог быть полезен. В зеркале, под электрическими лампами, я видел отражение человека с телефонной трубкой в руке, который два раза подряд набирает один и тот же номер, повторяя цифры, как шепчут имя возлюбленной.

Сеньор Гальба поднялся, не без некоторого усилия. Недостаток устойчивости он удачно восполнял умением держаться.

- Работа полиции в аэропортах налажена отлично, - заметил он. - Но если вам нужен, скажем, паспорт, я знаю кое-кого...

- Как вы догадались, сеньор? Он коснулся кончила своего носа:

- Глубокое знание порядка вещей в этом мире, сударь. Мы умеем распознать человека, загнанного в угол, мы - мой нос, моя собака и я сам.

Он вышел, пудель тяжело поплелся за ним. Несколько минут я стоял, размышляя о таком заведении, куда бы вас принимали, чтобы исследовать все ваши накопившиеся неприятности, ваше сознание, угрызения совести, воспоминания, страхи, а потом, нажав на какие-то кнопки, все стирали, оставляя, так сказать, чистый лист. У меня не было ни малейшего шанса выкарабкаться из этого самому по очень простой причине: я слишком любил в

прошлом, чтобы в настоящем сохранить способность жить, довольствуясь самим собой. Это было абсолютно, органически невозможно: все, что делало меня мужчиной, принадлежало одной женщине. Я знал, что говорили о нас иногда, говорили почти с осуждением: "Они живут исключительно один для другого". Меня огорчала язвительность подобных замечаний, отсутствие в них и намека на великодушные, холодное безразличие к единению человеческих душ. Счастливая любовь одета в наши цвета: у нее, несомненно, миллионы приверженцев во всем мире. Наше братство обогащается каждой новой вспышкой радости. Смех ребенка или нежность влюбленных - всех согревают своим теплом, всем дают место под солнцем. А безнадежная любовь, которая лишает веры в саму любовь, - довольно странное противоречие. Я отыскал в кармане листок со счетом и набрал номер. В трубке раздался ее голос.

- Я только хотел вам сказать... я должен вам объяснить...

- У вас что, больше никого нет в Париже?

- Приходите. Не будете же вы до последнего вздоха слушать эту индейскую флейту... У них, в Андах, это естественно, на высоте в пять тысяч метров не дышат, там только дух испускать... Там - да, но не на улице Сен-Луи-зан-Лиль... Я уверен, что, когда встречаются два незнакомых человека, как, например, мы с вами, все представляется возможным... Я ведь тоже достаточно пожил на свете, чтобы стараться любой ценой избежать этих белых пятен, где можно написать неизвестно что... Не беспокойтесь, я не стану говорить с вами ни о любви, ни даже о дружбе... может быть, только о взаимной поддержке... Нам нужно... развеяться, обоим... Да, именно развеяться... чтобы забыть...

- Послушайте, Мишель... Это ведь вы?..

- Да, это я. Помните, я вас толкнул, выходя из такси, и...

- Вы пьяны от горя. Что еще произошло?

- ...Я не смог уехать. Я пообещал ей уехать, далеко, чтобы не сорваться в любую минуту и не броситься туда, к ней... И не смог. Я, что называется, слабый, а у нас, когда мы любим женщину, слабость превращается в такую... силу, что... и вот, когда она должна умереть из-за каких-то... технических причин, да, слабый, изношенный организм... потому что слишком поздно это заметили и... Я вам уже говорил, что для нас, слабых, и любовь, и расставания, окончательные и бесповоротные, независимые от нашей воли, настоящие лавины мощи... принимают угрожающие размеры... нежности. Думаю, вы сильная женщина, не могу утверждать, я вас почти совсем не знаю; вот, хочу извиниться, что побеспокоил. Я только и могу, мадам, - заметьте, я опять обращаюсь к вам "мадам", чтобы еще раз подчеркнуть, что мы с вами совершенно чужие друг другу, - я только и могу, что признать свою слабость, потому что сила, мадам, думаю, она не на стороне слабых - видите, я нашел нужные слова, не лишены к тому же самоиронии, а значит, не все еще потеряно...

Молчание. Я подумал, что она повесила трубку. Сильная женщина. Потом я услышал ее голос:

- Где вы?

- У сеньора Гальбы, в "Клапси"... сеньор Гальба, помните, которому не везет со страховками...

- Ждите меня в баре. Я сейчас.

Я сел за гримерный столик. Шесть выпуклых электрических ламп, бутылка коньяка. За всех влюбленных! За короля! Человек, потерявший свою родину - женщину, составлял мне компанию по ту сторону зеркала. Он, другой, я, безродный. Тебя лишили твоей страны, старик. Твоих источников, твоего неба,

твоих полей, твоих садов. И на всю мою страну не было другого такого места, как ее волосы, уголка более скрытого и надежного, чем даже мои детские тайники. Когда я видел эти белые локоны, то проживал такие моменты, о которых невозможно говорить иначе как о последней истине, смысле жизни, распространявшемся на все вокруг, даже на то, что ее не касалось; я мнил, что постиг наконец, от каких утрат, каких лишений шипы стали острыми, а камни твердыми. У меня была моя родина - женщина, и мне нечего было больше желать. Голос моей любимой, казалось, сотворен самой жизнью для собственного удовольствия; полагаю, жизнь тоже не может без радости: взгляните хотя бы на полевые цветы, как они веселы - с другими не сравнить. В наш дом в Бриаке время не входило, всегда покорно ожидая за порогом; этот ревнивый страж был так хорошо выдрессирован, что принимался лаять, только когда она, отправившись в поселок, долго не возвращалась. Я вовсе не хочу сказать, что те пути, которые преодолевала каждая пара с начала мира, могут составить самую длинную, самую широкую дорогу на земле. Я говорю о счастливом отсутствии всякой оригинальности, потому что счастью нет нужды выдумывать что-либо. Ничто из того, что нас объединяло" не принадлежало только нам и никому больше: что-нибудь необычное, единственное в своем роде, редкое или исключительное; было постоянство, нечто непреходящее, был наш союз, старше самой памяти человеческой. Не думаю, чтобы вообще существовало когда-нибудь счастье без терпкого привкуса незапамятной древности. Хлеб и соль, вино и вода, лед и пламя, нас двое, и каждый другому земля, и каждый другому солнце.

- Я часто думаю, что бы с нами было, если бы мы не встретились...

- То есть не переспали бы.

- Столько мужчин и женщин проходят, не замечая друг друга! И что потом? Чем они живут? Ужасно несправедливо. Я даже думаю, что, если бы я тебя не узнала однажды, я бы всю жизнь тебя ненавидела.

- Именно поэтому вокруг столько ненависти. Мы постоянно видим людей, которые ненавидят всех тех, с кем им не посчастливилось встретиться; то же называют дружбой между народами.

- А в шестьдесят, когда я состарюсь?..

- Ты, твой живот, твоя грудь, твои бедра?..

- Ну да. Это же ужас! Нет?

- Нет.

- Как это "нет"? Когда от меня только дряблая кожа и останется?

- Не бывает дряблой кожи, бывают истории без любви.

Наши ночи были островами. Мои губы свободно гуляли по пустынным пляжам горячего тела. Я боролся со сном: этот воришка отнимал у меня бесценные минуты.

- Не слышу, Мишель. Ты уткнулся носом мне в шею" ворчишь что-то, шепчешь. Что еще?

- Р-р-р-р.

- Изволь объяснить нормально, в чем дело, раз уж разбудил меня?

- Я ничего не говорил.

- Не говорил? Ладно. Что же это за мурлыканье в таком случае?

- Если я не кошка, уж и помурлыкать нельзя?

- Не можешь уснуть?

- Почему, могу. Но не хочу. Рядом с тобой слишком хорошо.

- Ну, иди сюда, ляг, вот так, теперь спи.

- Янник, как это возможно, столько лет прошло, а это осталось в нас нетронутым, как в первые дни? А ведь говорят, все проходит, ломается,

надоедает...

- Да, у тех, кто только и может прийти, испортить и бросить...

- Что с нами, с тобой, со мной? Проблемы семейной пары и все такое?

- Проблемы семейной пары, что за ерунда. Либо есть проблемы, либо - семья.

- Быть вместе - порой это кажется таким сложным делом, даже мучительным, все не клеится, протекает. И в один прекрасный день смотришь - а ее и нет, пары-то...

- Слушай, Мишель, что это тебе взбрело будить меня среди ночи и говорить о каких-то мифических проблемах семейной пары? Твой бедный желудок не может справиться с паэльей?

- Я хочу знать, почему у нас нет этих проблем" что такого?

- Бывают неудачные встречи, вот и все. Со мной такое случалось. Да и с тобой тоже. Как, по-твоему, люди могут отличить настоящее от поддельного, если они умирают от одиночества? Встречаешь человека, пытаешься представить его интересным и полностью выдумываешь его, наделяешь качествами, которых у него нет и в помине, закрываешь глаза, чтобы лучше его видеть, он старается выдать желаемое за действительное, ты - тоже. Он - смазливый дурак? - вы находите его умным; он считает вас недалекой? - зато рядом с вами он - семи пядей во лбу; заметили вашу отвислую грудь? - не страшно, он найдет это своеобразным; вы начинаете чувствовать, что здесь пахнет деревенщиной? - надо ему помочь; он необразован? - ваших университетов хватит на двоих; он хочет заниматься этим без передышки? - он вас так любит! он не слишком в этом силен? - что ж, это не самое главное в жизни; жмот, каких свет не видел? - у него было трудное детство; хам? - просто держится естественно. И вы продолжаете отбиваться руками и ногами, лишь бы не замечать очевидного, а оно уже режет глаз, это и называется проблемы семьи, одна проблема, строго говоря, когда мы не в состоянии дальше выдумывать друг друга; и тогда приходит время печали, злобы, ненависти, мы пытаемся склеить разбитое - ради детей или просто потому, что предпочитаем терпеть неизвестно что, нежели остаться наконец в одиночестве. Всё. Спи. Ну вот, я сама себя так запугала, что теперь не смогу уснуть. Включи-ка свет на минутку, хочу посмотреть на тебя. Уф! Это в самом деле ты.

Я смеялся, вспоминая, к тому же в бутылке оставалось еще немного коньяку. "Двадцать пять лет, Мишель, я жила, дышала, думала, не зная тебя, - чем я жила, чем дышала, что это были за мысли без тебя?.." Я заучивал наизусть эти письма, которые она посылала мне с воздуха и из транзитных портов, "обрывки вечности", как она их называла, столь банальными казались ей ее слова. Износившиеся слова со стертым значением, цепляющиеся одно за другое, складываясь в непрерывные цепи, уходящие в глубь веков, избитые фразы, ты была права, элементарная банальность, как те пресловутые признаки жизни, которые мы с таким рвением спешим отыскать на других орбитах Солнечной системы, основы основ, находящиеся под постоянной угрозой забвения из-за непрерывных катаклизмов, терзающих здравый смысл, вы ищите глубины, а находите лишь пропасти. Ночами, сидя в кресле пилота, я слушал знакомое нашептывание древнейшего чтеца у себя в груди; те же, кто потерял память, теперь не могут даже расслышать нашего старого суфлера. Люди высокого призвания, оставившие сиюминутное, кого вы спрашиваете, зачем вы здесь, что все это значит и почему вообще мир существует, - и сколько великих имен слышится в ответ и теряется в этом потоке сознания вопиющих! - вы пытаетесь уверить нас, что так вопрошает вселенная, тогда как это всего лишь вопросы, звучащие внутри каждого из нас. Конечно, мы находились в

физических пределах, пришлось разъединить наше дыхание, оторваться друг от друга и разойтись в разные стороны, раздвоиться и расстаться, в таких случаях всегда теряешь... Если у тебя два тела, непременно наступит момент, когда останется только половина.

- Разве я хватчица?

- Еще какая, особенно если тебя нет рядом. Я встал и распрощался со своим двойником в зеркале.

Глава IV

Я поднялся в бар, где было полным-полно японцев; впрочем, может, мне только так казалось, из-за усталости. Сеньор Гальба как раз был на сцене. Семь белых пуделей и один розовый сидели на стульях, свесив задние лапы, изображая барышень в ожидании кавалера на каком-нибудь балу супрефектуры. Сеньор Гальба стоял слева: фрак, черная накидка, складной цилиндр, белый шелковый шарф, сверкающая белизной манишка, трость с серебряным набалдашником... Он достал из жилетного кармашка сигару и сделал вид, что ищет спички. В этот момент на сцену вышел шимпанзе, деловой, с зажигалкой в руке, и направился обслужить хозяина. Сеньор Гальба предложил ему сигару. Тот взял, откусил кончик и закурил. Затянулся, посмаковал сигарный дым и удалился.

- Во дает, - сказал один японец рядом со мной.

Я удивленно взглянул на него.

- Джексон - самый большой шимпанзе нашей эры, - сказал бармен.

Сеньор Гальба сделал несколько затяжек, потом щелкнул пальцами. Вновь появился шимпанзе, подошел к проигрывателю, стоявшему на изящном столике, покрытом бархатной скатертью, и нажал на кнопку. Раздались звуки пасодобля, шимпанзе направился к розовому пуделю, сидевшему в кругу других пуделей, и пригласил его на танец. Розовый пудель соскочил с табурета, секунду постоял, переминаясь на задних лапах, и шимпанзе подхватил его за талию; тут я поспешил опрокинуть одну за другой сразу две рюмки коньяку, так как вид черного волосатого шимпанзе и розового пуделя, танцующих пасодобль El Fuego de Andalusia¹⁰, показался мне слишком явной и циничной насмешкой. Японцы смеялись, и белизна их оскала лишь подчеркивала темноту. Я облокотился на стойку, отвернувшись от оскорбительного действия, и встретил сочувствующий взгляд бармена:

- Вам плохо, месье?

- Ничего, пройдет, как только все это закончится.

- Сеньор Гальба считает этот номер творением всей своей жизни.

- Преотвратно, - заключил я.

- Совершенно с вами согласен, месье.

И все же этот ужас притягивал мой взгляд. Было что-то вызывающее, издевательское, почти враждебное в "творении" сеньора Гальбы, То, что это было "творением всей жизни", ничего не меняло; напротив: язвительные нотки лишь усугубляли все, что было в нем циничного и оскорбительного.

Пудель и шимпанзе носились вдоль и поперек по сцене, в свете прожекторов, под клацающие звуки пасодобля El Fuego de Andalusia.

- Бытие и небытие, - начал бармен. - Неаполь, объятый пламенем.

- Отстаньте. И без того тошно.

- Никогда не видел, чтобы шимпанзе с пуделем танцевали пасодобль, что-то новенькое, - произнес мой сосед-японец с сильным бельгийским акцентом.

Я взглянул на него:

- Вы из Бельгии?

- Нет, почему?

- Так, ничего. Это, верно, что-то со мной... Еще коньяк, пожалуйста.

- Не нужно бояться заглянуть в самую суть вещей, - сказал бармен.

- Почему он выкрасил его в розовый, этого пса?

- Жизнь в розовом цвете, - предположил бармен. - Немного оптимизма.

- Но почему пасодобль? Есть ведь вальс, танго, менуэт, классические балеты, наконец; ну правда, есть из чего выбирать!

- Вы правы, - согласился бармен. - Действительно, этого - хоть отбавляй. Мне лично нравится чечетка. Но понимаете, сеньор Гальба, он испанец в душе. Fiesta bravall. Весь в ярком свете. Жизнь, смерть, muerte, и все такое,

- Смрт, - вставил я.

- Что?

- Смрт, ползет по ноге, опаснее, чем ядовитый скорпион, вот и все.

- В жизни не видел лучшего номера дрессировки, чтоб мне провалиться! - воскликнул японец с бельгийским акцентом.

Бармен, вытирая стакан, спокойно возразил:

- Это как посмотреть. Всегда можно сделать лучше. Нет пределов совершенству. Вы немного опоздали, тут недавно другой номер был. Человек-змея. Он складывался совершенно противоестественным образом, так что даже смог уместиться в шляпной коробке. Каждый изворачивается как может.

Бутылки стояли в ряд вдоль зеркала, и я видел, как шимпанзе с пуделем танцуют у меня за спиной. Еще я видел свое лицо, едва изменившееся. Всегда думаешь о себе лучше, чем оказываешься на самом деле.

Я спросил у бармена жетон, спустился в подвальный этаж и позвонил Жан-Луи. Я не виделся с ним месяцев семь. Я не верил в дружбу, которая всегда заканчивается одними разговорами. Янник не хотела ни расстраивать близких, ни вызывать их сочувствие. И мы решили, что, кроме ее брата, никому ничего не скажем. В таких случаях поведение друзей, даже самых искренних, превращается в нелепый ритуал чередования робости, тревоги, неловкости; они усиленно это скрывают, стараясь в то же время держаться как можно более естественно и непринужденно, что в конце концов становится невыносимо. Десять лет Янник работала стюардессой на рейсах в Индию, Пакистан и Африку. "Там мне было бы легче, - пояснила она. - У нас люди отвыкли умирать". Вот мы и решили никого не беспокоить. Однако брата все же нужно было поставить в известность; не то чтобы они были сильно привязаны друг к другу" но она очень любила родителей, а он был единственным живым напоминанием о них. Ничего особенного он из себя не представлял, ограниченный мальчик, в постоянных мечтах о новой машине; а так как Янник была красивой, веселой и счастливой, мне всегда казалось, что он злился за это на сестру, как если бы она отобрала причитающуюся ему долю наследства. Узнав о ее несчастье, он сразу засуетился, стал говорить о каких-то чудесных операциях - их делали на Филиппинах прямо голыми руками, об одном своем друге - его отец прожил после этого еще десять лет, о сенсационных исследованиях - они должны были вот-вот закончиться; словом, не захотел ничего знать и повел себя как последняя свинья: наобещают что угодно, только бы их оставили в покое. Он даже проторчал два дня в Институте радиологии, проходя полный медицинский осмотр: он, видите ли, где-то слышал, что это наследственное. "Ничего, купит новую тачку и успокоится, - сказала тогда Янник. - В сущности, это из-за меня он такой". Итак, я

постепенно отдалился от всех своих друзей, взял в "Эр Франс" отпуск на полгода и в настоящее время находился в подвалах "Клапси", среди хаоса, который, кстати, можно было расценить и как проявление милосердия: он освобождал меня от необходимости платить по счетам реальности.

- Да, алло... Я его разбудил.

- Это я, Мишель... Дружба, сплотившая нас за двадцать лет полетов во все концы света...

- Ну, ты нахал, шесть месяцев прошло, больше...

- Если бы друга нельзя было оставить на время, это уже не считалось бы дружбой...

- Да, но почему ночью, позволь спросить? Полгода не звонил, мог бы пару часов и подождать... Или что?.. Что-то серьезное?

- Как Моника?

- Прекрасно, все остальные тоже. Что с тобой?

- Она всегда меня жалела, потому что я не могу плакать. Она говорила, что я не представляю, как это хорошо.

Он молчал. Должно быть, голос мой звучал надломленно. Как она сказала? "Сиротствуете без женщины..."

- Мишель, что с тобой? Сейчас же иди домой. Пропал, как в воду канул, а теперь... Да что происходит?

- Пасодобль. Черная обезьяна танцует пасодобль с розовым пуделем.

- Что за бред?

- El Fuego de Andalusia.

- Что?

- Ничего. Абсолютно ничего. Так называемый конкурс дрессировки, только мы не знаем, кто музыку заказывает. Они забрались на свой чертов Олимп, эту гору дерьма, и наслаждаются. Каждый должен объять необъятное, это их присказка, они требуют этого от нас. Знаешь, тут один так извернулся, что поместился в шляпную коробку. Один из нас, из тех, кто прогибается. Гнусные боги-макаки восседают на Олимпе из наших гниющих останков и забавляются. Вот. Это я и хотел тебе сказать. Все мы ходячие шедевры.

- Ты пьян.

- Нет еще. Но я стараюсь.

- Ты где?

- В "Клапси".

- Это еще что?

- Ночной клуб, всемирно известный.

- Хочешь, чтобы я пришел?

- Нет, что ты. Я так просто звоню, чтобы время быстрее прошло. Это скоро закончится. А может, уже закончилось.

- Что ты там забыл, в своем "Клапси"?

- Жду одну знакомую, ей тоже плохо. Мы решили создать общество взаимопомощи. Извини, что разбудил тебя.

Жан-Луи молчал. Настоящий товарищ. Помогал мне убить время.

- Как Янник?

- Мы расстались.

- Не может быть. Ты что, смеешься? Только не вы двое.

- Она ушла от меня сегодня ночью. Наверное, поэтому я тебе и звоню.

Мне нужно было кому-то сказать об этом.

- Не верю. Вы были вместе, дай бог памяти... двенадцать, тринадцать лет?

- Четырнадцать, с небольшим.

- Я никогда не встречал такой пары, как ваша. Такой...

- Неразделимой?

- Просто не верится! Ну хорошо, поспорились; только не говори мне, что это окончательно.

- Это окончательно. Она уходит. Мы никогда больше не увидимся.

- В каком она рейсе сейчас? Эй! Ю.Т.А.!12 Мишель! Алло! Ты слушаешь, Мишель?

- Да. Я здесь. Извини, что разбудил, но... не было другого выхода. Мы всё долго обсуждали, спокойно... пока наконец это не стало пыткой. Мы решили порвать одним махом. Никакой агонии, бесконечно незаживающих ран. У нее еще оставалось немного женского тщеславия. Нет, просто гордости, достоинства. Это дело чести - не позволить издеваться над собой. Они заставляли нас ходить на задних лапках, надрессировались, довольно. Однажды, старик, мы сами возьмем кнут в руки, и он будет плясать под нашу дудку, как бишь его... какой-нибудь сеньор Гальба. В ней был этот отказ, этот... вызов. Честь существует, Жан-Луи. Честь человека, клянусь тебе. Они не имеют права так поступать с нами. И она не хотела быть игрушкой в чьих-то руках, позволить растоптать себя. Конечно, мы могли бы продержаться еще немного.

Протянуть еще месяц, неделю. Ждать, пока нас обоих не скроет с головой. Но ты ее знаешь. Она гордая. И мы решили, что я уеду в Каракас, и она тоже отправится куда-нибудь далеко-далеко...

- Нет ничего более мучительного, чем пара, которая распадается, но все плывет по воле волн, тогда как лодка уже дала течь и вот-вот пойдет ко дну... В таких случаях, конечно, лучше разом покончить со всем.

- Но знаешь, то, что разбивает пару, в итоге еще больше ее сплачивает. Трудности, сначала разделившие двоих, в конце концов их объединяют; в противном случае они и не были парой. Два несчастных человека, которые ошиблись, переводя стрелки, и оказались на одних путях...

- Никогда бы не подумал, что ты и Янник...

- Мне самому не верится. Это противоестественно.

- Извини, что я спрашиваю об этом, но... может, есть кто-то другой?

- Не знаю. Совершенно ничего не могу сказать. Я неверующий, ты знаешь, но, может быть, где-то сидит эта сволочь, не знаю...

- Мишель, ты расклеиваешься буквально на глазах... Я тебя спрашиваю, есть ли у Янника другой мужчина.

Я не понимал. Я уже ничего не понимал. О чем он спрашивал? Что я ему ответил?

- Прости, старик,... я немного не в себе. Уже не соображаю, о чем ты говоришь. Правда, извини, что разбудил, но... я пьян. Да, точно, набрался по самое горло. Я не должен был поднимать тебя с постели... Я запаниковал...

- Запаниковал, ты? Забыл, верно; как у нас загорелись оба мотора? И еще две сотни пассажиров на борту...

- Да, но гораздо труднее, когда некого спасать...

- Ты правда не хочешь зайти к нам? Тут рядом Моника, можешь сказать ей словечко.

- Нет, все образуется; у меня скоро самолет... улетаю с одной знакомой. Янник очень хотела, чтобы мы летели вместе...

- Женщины, мне их не понять.

- Не говори ерунды, они - единственное, что поддается пониманию и имеет смысл, здесь, на грешной земле...

- Она уходит, но не хочет оставлять тебя одного, так?

- Да. Она прекрасно знает, что я не могу жить без нее.

- И посылает вместо себя подружку? Ну знаешь, у меня одиннадцать тысяч летних часов, но... чтобы на такой высоте!

- Я эгоист. Эгоизм, кроме всего прочего, означает еще и то, что ты живешь для другого, что у тебя есть смысл жизни.

- Для меня это слишком сложно... Мишель? Ты еще там? Тебе нужно поспать, старик.

- Ничего, скоро пройдет, я тут жду кое-кого... Я только хотел тебе сказать, что Янник...

Но я не мог позволить себе эту низость, хоть бы она и принесла облегчение. У Жан-Луи обостренное чувство ответственности. Он не раздумывая бросился бы выполнять свой долг, позвонил бы в службу спасения; и тогда, вместо того чтобы дать одинокому паруснику мирно отчалить, мы бы получили еще месяц-другой этой отвратительной дрессуры, предоставив смерти точить клыки.

- Я только хотел сказать, что, когда все отдал одной женщине, понимаешь, что это всё неистоцимо. Если думаешь, что все кончено, когда теряешь единственную любимую, значит, ты не любил по-настоящему. Одна часть меня загнана в угол... но другая уже на что-то надеется. Этого не разрушить. Она вернется.

- Я тебе твержу об этом с самого начала.

- Она вернется. Нет, конечно, она уже не будет прежней. У нее будет другой взгляд, другая внешность. Она даже одеваться будет по-другому. Это нормально, естественно, что женщина меняется. Пусть она будет выглядеть иначе, пусть у нее будут седые волосы, например, другая жизнь, другие беды. Но она вернется. Может, я только горланю, один, в темноте, чтобы подбодрить себя. Уж и не знаю. У меня немного с головой что-то... Я позвонил, я говорю с тобой, потому что не могу думать, а слова как раз и нужны для того, чтобы выручать нас. Слова, они как воздушные шары, удерживают на поверхности. Я звоню тебе, чтобы ухватиться за спасительную ниточку. Янник больше нет, и все вокруг наполнилось женщиной. Нет, это не конец. Со мной не кончено. Когда говорят, что кому-то конец, это лишь означает, что он продолжает жить. Фашизм существует и без фашистов, и угнетение продолжается, не опираясь уже ни на какие силы полиции, и сопротивление может быть не только с оружием в руках. Боги-знаки пляшут у нас на хребтах, скрываясь под покровом судьбы, рока, слепого случая, а мы проливаем кровь, чтобы они могли напиться. Может быть, они собираются там каждый вечер и смотрят вниз, оценивая развлекательную программу дня. Им необходимо смеяться, потому что они не умеют любить. Но у нас, у нас есть наше знамя людей, наша честь. А честь и состоит в том, чтобы отвергать несчастье, это - отказ от безропотного приятия всего. Именно об этом я говорю тебе, об этой борьбе, об отстаивании своей чести. Я вспомнил сейчас, с каким достоинством Янник слушала то, что говорил доктор Тенон - о детской лейкемии, о болезни Ходжкина и прочих несчастьях, которые уже побеждены наукой: все это относилось не к ней, нет, но к нам. Речь шла о нас. Не знаю, понимаешь ли ты, что значит это слово, оно как вызов, как надежда, как братство. Мы вырвем им зубы и когти, мы сгноим их на этом зловонном Олимпе, а на их пепелище разведем праздничный костер... Пока, старик, мы еще встретимся, обязательно!

- Мишель!

Я зашел в туалет, плеснул в лицо холодной водой. Я в очередной раз

удивился своему отражению в зеркале: ничего общего с руинами, в которых лежала моя душа. Нет, это не было лицо побежденного. Немного усталости, но в глазах, там, в самой глубине, что-то еще оставалось. Я не говорю, что-то непобедимое. И тем не менее, может быть, это и есть то, что невозможно победить. Люди почему-то забывают, что жизнь, то, что они переживают, это бессмертно.

Глава V

Я вновь поднялся по лестнице и оказался в прокуренной темноте прожекторов, зеленых, красных, белых, в лучах которых роились мириады пылинок. Ее еще не было. На сцене две голые девицы строили из себя лесбиянок, только куда им... Действительно непристойное было не здесь. Бармен протянул мне стакан воды и две таблетки на блюдце:

- Аспирин, месье?

- В христианском милосердии не нуждаюсь.

Я не видел, как она вошла. В руке она все еще держала ключи от машины. Взбудораженная и как будто обозленная чем-то: она явно была не в ладах сама с собой. Молодой человек в сиреновом пиджаке - сейчас он был за бармена, но и у него где-то должна была быть своя, совсем другая жизнь - выжидал, внимательный и покорно-услужливый.

- Мне так трудно было припарковаться и...

- Да что вы. А я вот уверен, что там как раз оставалось местечко между двумя машинами...

- Как вы догадались?

- Я прирожденный боец. Хозяин сам себе и осей вселенной...

Она дружелюбно улыбнулась, но как будто не мне, а маленькому мальчику, которым я был в детстве.

- Хорошо, что вы позвонили...

- Женщина, которая включает музыку, как только остается одна, это уже опасно.

- Обожаю признания, - заявил бармен.

- Чего не терплю, так это пьяных барменов, - прямо у меня над ухом раздался голос с сильным итальянским акцентом. - Гарсон, шампанского!

Нос уже набрал высоту.

- Лидия, позвольте вам представить: мой давний друг, сеньор Гальба...

- Мы уже виделись, - поправила Лидия.

- Я не пью на работе, - заявил бармен.

- Он - хороший мальчик, - нахально заявил сеньор Гальба. - Отсылает все свои сбережения мамочке. Чуткая, нежная, ранимая душа...

- Я пожалуюсь начальству, - сказал бармен.

- Заходите ко мне в примерную. Буду рад составить вам компанию. Ненавижу расставания. Эта собака... не буду утомлять вас своими проблемами... Я жду ветеринара.

- Могу я высказать мнение? - спросил бармен.

- Вы еще слишком молоды, - ответил сеньор Гальба.

- Думаю, вам лучше усыпить этого пса. Этим вы ему окажете услугу. На днях, когда вам стало плохо на сцене, он описался от страха. Он устал вас ждать. Лучше бы вам его усыпить.

- SOS! Помогите! Санитарная служба! Эсэсовцы, - возмутился сеньор Гальба.

Он взял бутылку и удалился с гордо поднятой головой.

- Он венецианец, - пояснил бармен. - Как полишинели Тьеполо...

- Идемте отсюда, - сказала Лидия.

Как раз в этот момент я повернулся к черной дыре, где в клубах табачного дыма мерцало зеленоватым: "Выход". Двое, которые только что в ней появились, смотрели прямо на меня.

- О нет! - Я повернулся к ним спиной.

- Полиция, - сказал бармен. Он протянул мне листок и ручку:

- Могу я попросить у вас автограф, месье? Не знал, что мне выпала такая честь - говорить с кем-то очень важным...

Они уже стояли рядом.

- Мишель, неужели... Мы думали, ты пропал...

- Я пытаюсь...

- Как Янник?

- Я начал новую жизнь. Позвольте вам представить...

- Мадам...

- Господа...

Они снисходительно улыбались. Я был пьян, мил и смешон. Только что я слышал, как один из них сказал: "Мишель, бедолага..."

- Ну, что? Как дела, Робер? Как Люсетт? Дети? А ты, Морис? Держишь форму? Так и надо, молодец. Лидия, позвольте представить двух выдающихся бизнесменов, которые постоянно заботятся об инвестициях, о рентабельности, об НДС и о налоговой инспекции. Мы много лет знаем друг друга, и вы понимаете, какую радость я испытываю, снова встретив их. Вы пропустили замечательный номер, пудель и шимпанзе вместе танцуют; но если немного подождать, вы их еще увидите, у них второй выход часа в два ночи. Еще тут есть человек, который пытается свернуться клубком, чтобы поместиться в шляпную коробку, и ему это удается, все как-то выкручиваются. Может быть, вы усмотрите в моей агрессивности признак бессилия, но я вот смотрю на вас, и мне вспоминается бессмертная строка Ламартина: "Лишь нет тебя со мной - и тьма вокруг безликих..."¹³

Им было неловко, но я чувствовал, что симпатии бармена на моей стороне. На сцене начался новый номер, и они воспользовались этой возможностью, чтобы ретироваться. На какое-то мгновение всех оглушило гудение микрофона, а потом я почувствовал, как меня взяли за руку, совсем как в детстве. Я встретил ее понимающий взгляд. Грустный и улыбающийся. Она уже успела привыкнуть.

Мы сели в ее машину. Я молчал. Несчастное "мужское целомудрие", которое сжимает вам челюсти... берет за горло.

- Почему вы не сказали мне... раньше?

- У вас своего - выше крыши. Для меня уже не было места.

- Разве вы не знаете, что несчастья других порой приносят утешение?

- Да, настоящие, но не думаю, чтобы вам это сильно пригодилось.

- Значит, было решено, что вы уедете как можно дальше, но у вас не хватило сил уйти от нее далеко... Вы остались... и бродили здесь, поблизости. И все, что вам от меня нужно, это помочь... пройти через это. Провести эту ночь. Вам необходимо присутствие женщины рядом. Случайно это оказалась я. Не надо, не оправдывайтесь, я на вас вовсе не сержусь. Наоборот. Мне это... близко, понятно. Но почему вы не уехали? Она хотела избавить вас от этого. Или, может быть, она боялась, что, будь вы рядом, ей не достало бы смелости... Нет, не думаю. Это была... она, конечно, очень смелая женщина. В котором часу она...

Я взглянул на светящийся циферблат на панели управления:

- Не знаю. Может, прямо сейчас.
- Как... как именно?
- Снотворное. Не знаю, сколько нужно времени, чтобы...
- Вам нужно было забыться... и подвернулась я.
- Да, так. Вы сами это сказали. Мне нужно было развеяться. Подумать о чем-то другом. Отвлечься. Неважно как. Сеньор Гальба, пасодобль, вы... Свинство, конечно.

Она задумалась.

- Как долго вам еще ждать?
- Горничная придет убирать в восемь. У нее свои ключи. Мы можем пройтись по ночным клубам, заняться любовью, посмотреть семейные альбомы, потом позавтракать где-нибудь... Как раз напротив нашего дома есть неплохое кафе. Когда откроются магазины, мы купим цветы. Вы меня спросите, какие были ее любимые, и я отвечу: "Все". А пока... У вас случайно нет "Клубной афиши"? Мы могли бы пойти посмотреть шоу травести. Или вернуться в "Клапси". Вы пропустили самый замечательный номер на свете. Пасодобль. Стоит посмотреть. Последнее слово. Последнее слово обо всем этом, с тех пор как вертится земля. Или, может, поедem прямо в Руасси и улетим первым же рейсом, вдвоем. Это история любви, Лидия, у нее нет конца. Я слишком любил женщину, чтобы это могло куда-то деться.

Я видел только ее профиль, немного жесткий, с прямыми чертами, и седые волосы.

- Нет, Мишель. Я прекрасно знаю, что вера может свернуть горы, но порой она не приносит ничего другого, только ворочает горы. Миссия женщины - к чему она сводится, в конце концов? Помогать мужчине жить. У меня нет к этому призвания.

- И тем не менее вы здесь.

- А вам не приходило в голову, что я, может быть, тоже пытаюсь... забыть?

Какая-то девица вышла из отеля напротив "Клапси". Она заметила парочку, спокойно ждавшую чего-то, сидя в машине, и уверенно подошла к нам, как будто зная, что нам нужно.

- Вас отвезти?

- Нет, спасибо, - отказался я. - Дело дрянное, конечно, но не до такой же степени.

- Выслушайте хотя бы, - вмешалась Лидия.

- Извините.

- Ничего.

- Здесь такое часто случается.

- Да?

- И потом, у меня сейчас клиент, он уже должен был прийти, но что-то задерживается. Он выступает с дрессированными собачками в "Клапси", и между двумя сеансами я составляю ему компанию. Он не выносит одиночества. Сердечник, все время боится, что умрет. Поэтому ему необходимо, чтобы рядом кто-нибудь был. Уж не знаю, чего он там себе напридумывал, честное слово.

- Это мексиканское поверие, - сказал я.

- Надо же, я и не знала.

- Смерть ждет, пока вы не останетесь одни, и только тогда входит.

- Это от мексиканцев?

- От индейцев. Запотеки. Из Сан-Кристовалья в Лас-Касае. Очень красивая страна.

- Он не говорил, что он мексиканец.

- Нет, он итальянец. Каждый черпает надежду там, где ее находит.

- Я не знала. Что ж, извините еще раз...

- Ничего.

- Спокойной ночи.

- Спокойной ночи.

Она отошла, покачивая дамской сумочкой.

- Может быть, лучше подождать в каком-нибудь более спокойном квартале,
- заботливо предложил я.

Лидия включила зажигание и так и осталась сидеть, подавшись вперед, не убирая руку с ключа, глядя прямо перед собой, и я понял, что она пытается разобраться в себе. Профиль женщины в седых волосах, взгляд незнакомого мужчины, пара из доисторических времен, Музей истории естествознания. Бесспорно, с самой нашей встречи мы еще не были ближе друг другу, чем теперь: у нас было одно на двоих острое чувство призрачности всего окружающего.

- Вы как-то говорили о взаимопомощи, дорогой мой. Я принимаю ваше предложение. Нас связывает невозможность, мы могли бы ее разделить. Не знаю, что бы я делала без вас в эти последние несколько часов. Я сейчас объясню вам поподробнее. Я люблю одного человека, которого я разлюбила, и с тех пор пытаюсь любить его еще больше...

- Я ни о чем вас не спрашиваю.

- Мне все равно, спрашиваете вы меня или нет. Сейчас речь обо мне. Конец света, он не только для вас. Он для всех нас. Итак, я продолжу. Что ходить вокруг да около. Я вас представлю моему мужу.

- У меня нет ни малейшего желания разбираться в подробностях.

- Ничего, ничего. Я уже видела, что вы можете быть забавным. Я собираюсь теперь кое-что для вас сделать. Я покажу вам, как это у других. Пора дать вам почувствовать, что вы... не такой уж уникальный.

Опера, бульвар Оссмана, бульвар Малерба. Только мужа мне и не хватало. Она молчала с каким-то враждебным упорством, как будто торопилась покончить с этим.

- Вы мне сказали, что ваш муж умер.

- Я прекрасно помню, что я вам сказала. По телефону вы мне объявили: "Я должен вам объяснить..." Я тоже должна вам объяснить кое-что. В конце концов, я с вами переспала. И как только вы позвонили, я пришла. Видите, я тоже пытаюсь...

- Я не понимаю, зачем мне идти смотреть вашему мужу в глаза в такой поздний час, - протестовал я.

- Вы почувствуете себя лучше после этого.

Прекрасный старинный дом на бульваре Малерба. Чтобы подняться на пятый этаж, мы потревожили древний лифт, который, должно быть, мирно грезил о временах экипажей. Я приоткрыл створку двери, и лифт остановился между двух этажей. Я присел на скамеечку, обитую пунцовым плюшем.

- Хорошо здесь, правда? Думаю, во мне сидит бес: я еще не расхотел быть счастливым. Конечно, я чертовски устал, нервы на пределе, еще... вы. Я не знаю, что такое женственность. Может, это всего лишь один из способов быть мужчиной. Но мужчина, свободный от женщины, и женщина, свободная от мужчины, они дуют каждый в свою сторону до тех пор, пока их половина не раздуется, загромождая собой все. Несчастье знает свое дело: независимость, независимость! Мужчины, женщины, страны - все мы настолько заразились независимостью, что не стали независимыми, мы стали заразными. Эти вечные истории калек, инвалидов, которые хватаются друг за друга: они ставят

увечье и уродство в пример. Bravo. Пусть их наградят орденом "За заслуги" в отстаивании искусственного дыхания. Мы уже одержали такие оглушительные победы над природой, что осталось только объявить асфиксию нормальным способом дышать. Единственная гуманная ценность независимости - это возможность обмена. Когда бережешь эту независимость только для себя одного, разлагаешься со скоростью лет одиночества. Пара" Лидия, да и все остальное, - это воссоединение. Пара - это мужчина, живущий женщиной, и женщина, живущая мужчиной. Вы можете меня спросить, отчего же тогда я не лег рядом с ней, не обнял ее, не ждал последнего вздоха, чтобы сорвать его прямо с ее губ. Я бы пошел за ней до конца, умер бы вместе с ней. Но она хотела остаться живой и счастливой, и в данный момент это значит: вы и я.

- Вы пьяны, просто невозможно.

- Да. Завтра, через два дня, через месяц я посмотрю на вас и спрошу:

"Что она здесь делает?" Если вы и в самом деле так думаете, то вам не нужен смысл жизни. Вам еще не приходилось быть до конца побежденной. Вполне вероятно, что мы пойдем ко дну, вы и я: знаю, трудно пускаться в бурю на корабле, потерпевшем уже два кораблекрушения. Предположим, что вы подобрали на улице человека без сознания. Вы помогли ему провести ночь и следующий день, а потом вы его оставили - ни от кого не требуют невозможного. Но я не верю, чтобы вы до такой степени обессилели и потеряли надежду. Есть уроды, которые чувствуют себя полноценными без женщины, есть калеки, которые чувствуют себя полноценными без мужчины. Это значит только то, что мы способны на все, и мы еще до Гитлера знали это. Я не говорю, что невозможно жить без любви: возможно, это-то и есть самое отвратительное. Органы продолжают функционировать самостоятельно, как часы, и эта видимость жизни может длиться очень долго, до тех пор, пока механизм не сломается и труп не окажется там, где ему и место. Можно также искать забвения и утешения в сексе, жить с кем Бог пошлет. Ну скажите же: "Бедный, не спал две ночи, бредит теперь". Проявите осторожность, это всегда служит хорошим оправданием. Или едемте завтра со мной. Не проходите мимо, не делайте этой глупости, потому что вы якобы научены опытом. Попробуйте, дайте хоть один шанс невозможному. Вы никогда не задумывались, как оно, это невозможное, устало, как оно нуждается в нас.

Она с дружеским участием смотрела на этого одержимого, сидящего на скамеечке в лифте между двух этажей.

- Я, как и вы, Мишель, могу жить случайностями и плыть по течению. Вот почему мы вместе этой ночью. Мы мучительно не хотим признавать, что мимолетность затягивается. Глядя на мои седые волосы, вы уже не рискуете спрашивать, сколько лет минутам. Уезжайте завтра один в Каракас, и я начну верить во встречи.

Она закрыла дверь и нажала кнопку пятого этажа.

- Вот мы и на месте. Не знаю, что вы обо мне подумаете, и я, верно, покажусь вам жестокой, но нам уже давно пора познакомиться.

Глава VI

Меня зовут Мишель Фолен. Мои родители - выходцы из Ирландии; изначально наша фамилия была О'Фолэйн, но я родился во Франции, и меня записали уже на французский манер. Я пилот гражданской авиации, рост метр восемьдесят, мне сорок пять, и в данный момент я стою на лестничной площадке пятого этажа старого дома на бульваре Малерба, рядом с женщиной, которая тоже существует, на самом деле. Все это настолько явно, несомненно,

живо, что испытываемое мной впечатление нереальности вполне естественно и вызвано как раз избытком реальности. У меня нет никакой особой причины находиться сейчас именно здесь, а не где-нибудь в другом месте; это то, что называют "обстоятельствами": случайно выбили из колеи, случайно протянули руку. В настоящей жизни не бывает автопилота.

Я заметил на стене маленький металлический цилиндр, мезузу, которую верующие евреи вешают у входа в жилище, чтобы Бог мог сразу распознать своих и идти дальше, оставив их с миром.

За открывшейся дверью показался официант в белом пиджаке, из комнат доносился шум праздничного вечера.

- Месье... Мадам...

- Лидочка! Как я рада!

Пожилая дама, низенькая и пухленькая, катилась нам навстречу с распростертыми объятьями и смотрела на Лидию, улыбаясь так, будто счастливее нее на всем белом свете не сыскать. Ее иссиня-черные волосы, разделенные спереди пробором, на затылке были собраны в шиньон, заколотый красивым черепаховым гребнем. Ее элегантность, начиная с платья от "Шанель" и заканчивая кольцами, браслетами и большими серьгами в форме золотых колец, подчеркивала возраст - где-то за семьдесят.

- Лидочка, дорогуша!

Она схватила Лидию за руку и держала в ладонях не выпуская, глядя на невестку одновременно с волнением, восторгом и напряжением, еще более усиливающимся от дрожащих под смычком цыганских скрипок. Мимо прошел метрдотель, держа в руках поднос с икрой. На стенах висели афиши концертов, которые отзвучали уже давным-давно: Стравинский, Рахманинов, Брайловский, Бруно Вальтер; фотографии певцов в оперных костюмах и музыкантов во фраках, я никого из них не знал, но выглядели они настоящими знаменитостями.

- Он очень беспокоился, очень... Звонил тебе сегодня утром, как всегда... Мы даже думали, что ты больше не придешь...

- Добрый вечер, Соня. Мишель Фолен, мой друг... Мадам Соня Товарски...

Она взяла нас за руки.

- Друг Лидии? Как я рада!

- Мы повстречались в Каракасе, - сказал я.

- Предупреждаю, Соня, он в стельку пьян.

- Ну что ж, всему свое время! Иногда нужно и выпить! Надо жить! Надо чувствовать себя счастливым! Как говорят у нас в России: "Чтобы твоя чаша всегда была полной!"

- Пирожки! - вставил я.-Ай да тройка! Волга, Волга? Очи черные! Кулебяка! Пожилая дама была в полном восторге.

- Как?.. Он говорит по-русски! Вы... вы русский? Нет, нет, не отрицайте! Я сразу же что-то почувствовала! Что-то... родное!

- Что?

- Родное! Что-то... наше! Лидия... он русский!

- Черт, - с досадой сказала Лидия.

- В Париже почти не осталось больше русских! - сказала пожилая дама. - Их всех депортировали в сорок третьем, после той облавы, помните... Велодром д'Ивер! Мой муж так и не вернулся тогда. Идемте, надо за это выпить. Лидочка, так мило, что ты его привела... Я уверена, вы будете счастливы вместе...

Я заметил, что Лидию всю трясет. Я ничего не понимал, но живо ощутил сложившуюся обстановку.

- Перестаньте, Соня. Я похитила вашего сына, я знаю. Но добрый

Боженька вам это вернул. Есть на небе Бог, который замечает матерей. Вам повезло.

Пожилая дама вся светилась добротой.

- Как ты можешь говорить такие вещи, Лидия? Так нельзя, нельзя... Она решила объяснить мне:

- Мы ведь евреи, вы понимаете... Я поклонился:

- Очень приятно.

Интересно, что это были за звуки, доносившиеся до нас: стерео или живая музыка? Балалайка, гитара, скрипка. Прелесть.

- Не нужно так говорить, Лидочка. Бог, Он добрый. Он видит наши сердца. Он справедливый... Простите ее, она очень несчастлива".

- Это ничего, - подбодрил я ее. - Я здесь инкогнито.

Лидия рассмеялась каким-то нервным смехом. Я был на пределе.

- Идемте. Я вас представлю нашим друзьям. У моего сына сегодня день рождения. Давайте сюда ваше пальто... Я так рада, что вы смогли прийти вдвоем...

- Соня - прирожденный боец, никогда не сдается, - сказала Лидия.

Тут только я заметил, что где-то оставил дорожную сумку.

- Вот видите, вам уже удалось что-то забыть, - улыбнулась Лидия.

Со стен на нас смотрела вся Святая Русь: раввин Шагала, ряд икон, портреты Толстого и Пушкина, кавказские ковры с кривыми саблями крест-накрест. Сюда бы еще шашлык или бефстроганов, но это, должно быть, еще впереди.

Пожилая дама перехватила мой взгляд.

- Мой муж был из Тифлиса. Бакинская нефть...

- Все забрали большевики, - пояснила Лидия.

Мы вошли. Анфилада из трех залов, запруженных народом: в этой компании не хватало разве что Артура Рубинштейна. Все лица казались мне знакомыми, оттого, наверное, что все они были очень старыми, а то, в чем я видел знакомые черты, - всего-навсего рука времени, у которого всегда один и тот же почерк. Трое молодых людей в русских рубахах, в сапогах и шароварах ловко управлялись с блинами и "пожарскими" котлетами. Представляя меня, пожилая дама каждый раз добавляла с заговорщицким видом: "Друг Лидии", а Лидия молчала, стиснув зубы, как будто в этих словах было какое-то скрытое злорадство. Много говорили о музыке, главным образом о Брайловском, Пятигорском и Ростроповиче. Невысокий лысый господин узнал меня, приняв, конечно, за кого-то другого. Он спросил, нет ли новостей от Николая, и я ответил, что теперь это все труднее.

- Да, - согласился он, кивая. - Он очень изменился. Такая профессия, ничего удивительного. Я сам, посмотрите на меня...

Он вздохнул и пригубил шампанского.

- И потом, все так быстро меняется, - заметил я.

Он пожал мне руку:

- Знаю, знаю. Но последнее слово всегда за непрерывной традицией.

Остальное проходит. Кстати, что вы сейчас делаете?

- Жду, пока это пройдет, ничего больше.

- Как я вас понимаю. Никогда еще времена не были такими трудными для настоящего таланта.

- Засилие легкости.

- Весьма справедливое замечание.

- Никаких критериев, - вставил я.

- Ничего, это вернется. Искусство умеет ждать.

- Вы знаете сеньора Гальбу?
- Признаюсь... Гальба?
- Гальба.
- Он абстракционист?
- Напротив, скорее иллюстратор. У него весьма своеобразное видение жизни и смерти. Немного жестокое, даже грубое, но...

Он призадумался.

- Я не большой любитель искусства, прославляющего грубую силу. Мне противно все, что убивает чувствительность.

- Позвольте с вами не согласиться. Иногда убить чувствительность - это вопрос выживания.

Я опрокинул залпом три виски подряд, удерживая официанта за рукав и выставляя на поднос один за другим пустые стаканы. Соня подводила меня то к одной группе, то к другой:

- Идите, Мишенька, идите... Никогда еще не видел такой устойчивой улыбки; интересно, снимала ли она ее хоть на ночь?

- Давно вы знакомы с Лидочкой?

- О, целую вечность! Она вцепилась мне в руку:

- Я так рада...

- Чему именно вы рады, мадам?

- Зовите меня Соней.

- Так чему вы рады, Соня? Не хочу показаться нескромным, но, может быть, существуют такие поводы радоваться, которые мне неизвестны, и...

Она смотрела на меня прямо-таки с сияющей неприязнью. Я был представлен раздевающему взгляду какой-то мрачной дамы, у нее все было черное: глаза, волосы, бархотка на лбу, и другая - на шее, серьги, платье, кольца, сумочка с блестками.

- Вы, конечно, знаете...

Уж и не помню, когда я в последний раз был в "Плейеле"¹⁴, и теперь никак не мог понять, что это было - арфа или фортепиано. Она раздавила мне руку своим пожатием, выставляя напоказ все зубы, какие были, и, обращаясь к Соне, сказала басом, что завтра она возвращается в Штаты, на двухсотлетие.

- Это ученица Шаляпина, полагаю?

- Ах, Мишенька, не будьте таким злым...

Я пропустил еще пару стаканчиков, разыскивая куда-то пропавшую Лидию, и заметил девочку с огромными глазами, которая важно протягивала мне тарелку с ветчиной. Было душно. Люстра слепила глаза. Скоро будут давать трилогию Вагнера в "Пале Гарнье". Кто-то прекрасно знает Рольфа Либермана. Что-то там - настоящий скандал. Бейрут перешел к левым. Кто-то уже не был тем, кем был раньше. Слишком много картинных галерей. Видел бы это Берансон, в гробу бы перевернулся. Нигде нет нормальных гостиниц. Любая опера оторвет его с руками и ногами. Кто-то всегда это говорил. Девочка с важным взглядом вернулась, неся шоколадный торт, она, оказывается, дочка консьержки, португалки. Соня поцеловала ее в лоб. Никогда еще церкви в России не отказывали стольким страждущим. Он достоин первого приза. Нуреев, Макарова, Барышников. Кто-то был самый великий. Можно было всего ожидать. Запомните это имя, я редко ошибаюсь. Я заметил Лидию, которая делала мне какие-то знаки с другого конца комнаты; я попытался пробраться к ней, извиняясь направо и налево, нет больше архитектуры, в Китае всем заправляет жена Мао, "Метрополитен" и "Ла Скала" на грани краха.

- Что, Мишель, вам легче? Вы чувствуете себя... менее одиноким?
Она немного выпила.

- Вы говорили с Соней? Вам, конечно, сообщили, что у меня нет сердца?

- У нее какая-то неизводимая улыбка.

Лидия казалась изнуренной. Под глазами - темные круги. Даже огромная люстра, сияющая тварь, не могла пробраться в эти глубокие гроты.

- Я так больше не могу. Да, теперь моя очередь. Не знаю, что бы я делала, если бы не встретила вас. У меня нет никакого желания жить.

- Это как раз самый старый способ жить.

- Я не должна была приводить вас сюда.

- Отчего же? Время здесь проходит быстрее.

- Но я обещала, что буду. Соня очень стойкая женщина. Она раз и навсегда решила принимать все так, как есть. Причем с энтузиазмом, потому что, видите ли, это все от Бога. У нее в жизни было столько горя, что теперь ей остается лишь быть счастливой. И потом." Мы - евреи, вы понимаете, очень, очень давно... Так давно, что это само по себе уже победа...

Официант протягивал нам блюдо с пирожными. Я взял ром-бабу.

- Может, я и уеду с вами завтра, если вам так хочется. Увидев Алена, вы поймете, почему я к вам пристала...

- Вы пристали ко мне? Вы? - Я даже рассмеялся.

- Да, я. Когда вы толкнули меня там, на улице, и мы посмотрели друг на друга... О, вы все прекрасно понимаете: стоит только отчаяться, и мы уже готовы поверить чему угодно...

- Жизнь всегда борется до последнего".

- Так, а потом я отвернулась, собираясь уйти... проклятая воспитанность. Но у вас не оказалось денег, чтобы расплатиться с таксистом, вы растерялись, и вот, пожалуйста, опять этот миг абсурдной надежды... Вы были какой-то затравленный, обессилевший...

- О да! Вам крупно повезло."

- Неопишуемое чувство: помочь другому, тогда как сам нуждаешься в помощи... Я оставила вам имя и адрес, ушла, а дома бросилась на кровать, разрыдалась... и стада ждать. Он придет, он придет, я хочу, чтобы он пришел. Как семнадцатилетняя. Не стоит полагаться на седину, на зрелость, на опыт, на все, чему мы научились, на те пинки, которыми нас потчевала судьба, на шепот осенней листвы, на то, что делает с нами жизнь, когда действительно постарается. Нет, это остается, оно всегда в нас и продолжает верить. Вы пришли, но меня сковала... невозможность. Я получила, что называется, хорошее воспитание: то, что окружает нас стенами приличия. Нужен настоящий сдвиг, чтобы проломить их. Я выставила вас вон. К счастью, вы и в самом деле были в безвыходном положении, и вы вернулись... я с вами переспала. Жалкая улыбка.

- ...Хуже некуда. Я была зажата, забита запретами. Наслаждение, вы отдаете себе в этом отчет... С тех пор как погибла моя девочка, я постоянно пытаюсь доказать себе, что не имею права на счастье. Переспать, но для вас, этому еще можно было найти оправдание: например, дар, жертвоприношение, почти нравственное; но сделать то же для себя... Брр. Мораль - известная зараза. Получать удовольствие с человеком, которого даже не знаешь, это невращения. Истерика. Фригидность - это когда совокупляются мораль и психология. Когда теряешь смысл жизни и все-таки пытаешься... чувствуешь себя виноватой.

Она вдруг осеклась, как будто испугавшись чего-то.

- Боже мой, Мишель, я совсем забыла...

- Я тоже. Но так даже лучше. Янник хотела меня отдалить. Я оказался

немного дальше, чем рассчитывал, вот и все.

Тут появилось блюдо с закусками, но уже после пирожных. - ни в какие ворота, и я сухо выговорил за это официанту:

- Полный бардак.

Тот лишь пожал плечами:

- Чего вы ждали, русский вечер...

Какая-то дама преклонных лет подошла попрощаться с Лидией, потому что завтра она уезжала в Зальцбург. Соня подвела прямо к нам трех музыкантов, и они сыграли для нас "Калинку". А я вдруг подумал, есть ли на свете что-либо более жалкое, не считая, конечно, солдатских портянок, чем участь, доставшаяся цыганской песне.

- На самом деле это восточные немцы, - шепнула мне на ухо сияющая Соня. - Они перебрались через стену под пулеметным огнем. Беженцы, как и мы.

Она попросила поднести им водки. Княгиня Голопупова спрашивала, где здесь дамская комната. На груди она держала маленького песика; по национальности она, кстати, была итальянкой. Соня мне рассказала, что ее муж трижды терял все свое состояние. Один старый господин в колпаке внушительных размеров стал говорить мне про Кайзерлинга, Куденхофа-Калержи, Томаса Манна, а немецкий атташе по культуре подходил то к одной группе, то к другой и всех приглашал на прием в посольство Германии.

- Благодарю вас, но вы ошибаетесь, - объявил я, когда настала моя очередь. - Я не еврей.

Он, казалось, удивился, посмотрел на меня, будто не веря своим ушам, а Лидия нервно расхохоталась. Француз с весьма холеной внешностью, в галстук-бабочке, сказал мне, что никого здесь не знает и что его пригласили только потому, что он был директор музыкальных театров. На этажерке была выставлена коллекция расписных яиц. Кто-то попросил тишины, и Соня прочла вслух телеграмму: Рубинштейн извинялся, что не смог приехать. Я не понимал, почему муж отсутствовал на празднике, ведь это была его годовщина. Может быть, здесь есть еще и другие гостиные, такие же, как эта, и толпа приглашенных, еще более приветливых. Другие столы, цыгане, развлечения, зеркала. Как, вы уже уходите, дорогая? Пойдите, я непременно должна вам представить... Она умирает, как хочет с вами познакомиться...

Я взял из рук Лидии бокал с шампанским, который она уже поднесла к губам.

- Как? Вам, значит, можно, а мне нет? Мне, между прочим, тоже нужно, для смелости.

- Через несколько часов мы уезжаем. Вам еще надо уладить кое-какие дела, я полагаю. Вы уже достаточно выпили.

- Вчера мой муж пытался выброситься из окна. А у него, между прочим, есть телохранитель, который не отходит от него ни на шаг. Здесь вопрос этики: нужно ли оставлять окно открытым или нет? И в какой момент мы более всего безжалостны? Не тогда ли, когда следуем своим принципам? И что значит: "жизнь - это святое", если для самой жизни никто и ничто не свято? Я не имею права решать... потому что теперь уж и не знаю: если бы я помогла ему умереть, то сделала бы это для него или для себя самой...

Я отправился за шампанским и, не без удовлетворения, почувствовал себя наконец в гостях. Муж, у которого есть телохранитель и который пытается выброситься из окна, в то время как все празднуют его день рождения; лучезарная мамаша, ненавидящая невестку до мозга костей; ай да тройка; директор музыкальных театров; седая женщина, помогающая другой отправиться на тот свет; попробуйте пирога, Мишенька, сама пекла; надо спасти Оперу;

сегодня Ницца превратилась в город, куда старики приезжают в конце жизни, чтобы лечь в землю рядом со своими предками; вы всё шутите; представьте, я собрал все свое мужество и пошел смотреть, не поверите, пор-но-гра-фи-ю; не верю я в эти горячие источники, но, говорят, там есть красивые места для прогулок; несчастная Соня, какую смелость надо иметь, железной воли человек.

Лидия стояла прислонившись к стене, глаза у нее блестели: мы оба перебрали; я поставил бутылку и стаканы на пол.

- Так, думаю, теперь я уже могу туда пойти... Нет, не оставляйте меня, идемте вместе...

У выхода толпились люди, все прощались, чье-то пальто искало своего хозяина, поцелуи в обе щеки, созвонимся, приходите непременно, португальская девочка: одни большие глаза выглядывают из-за кучи вещей, которые она держит в руках. Я прошел вслед за Лидией по коридору, вежливо пропуская к выходу уже одетых гостей.

- Лидочка... Ты считаешь, это разумно...

Она уже здесь, тербит нить жемчуга у себя на шее. Улыбка стала жестче. Зато Лидия улыбалась не стесняясь; что тут было: печаль, обида или злость - не разобрать, слишком мало света в коридоре. Единственное, что можно было сказать: эти две женщины прекрасно друг друга знают.

- Вы упрекали меня, что я не прихожу к нему; вы настояли, чтобы я пришла на этот вечер, а теперь полагаете, что мое присутствие...

- Уже поздно. Ален устал... Я уже и забыл про время.

- Вы прекрасно знаете, что он почти не спит... Соня светилась.

- Сегодня днем он немного вздремнул. Двадцать минут. Доктор Габо очень доволен... Но он еще такой нервный, и лучше бы...

Лидии стоило больших усилий сохранять спокойствие. Поэтому голос ее звучал по-детски тонко:

- Может, это из-за того, что я не одна? Так он никогда ничего об этом не узнает.

- Мишенька? Да нет, что ты...

- Что за манера передельвать все имена на русский лад, смешно даже...

- Иногда нужно и посмеяться, Лидочка, больше смеха, больше шуток, чтобы жить дальше. Нет, конечно, это не из-за нашего дорогого Мишеньки... - Ее взгляд топил меня в доброту. Вот что значит - настоящая ненависть. - Напротив, Ален хочет, чтобы ты была счастлива, дорогая.

- Прекратите, Соня. И потом, откуда вы знаете? Он вам это сказал?

- Я его знаю. Я знаю своего сына.

- Ну конечно, сердце матери... Бред. Вы перегибаете, Соня. Уже все в курсе, какая вы замечательная.

Пожилая дама улыбалась, тербя свой жемчуг:

- Я не сержусь на тебя, дорогая. Я понимаю. Ты очень несчастлива.

- О да, мы здесь в храме всепрощения. Прощают Богу, прощают немцам, прощают русским, всем... Йом-кипур круглый год...

- Моей невестке не повезло, Мишель. Меня вернули Франции!

- ...Она не верит в Бога. Ей нечем жить. А вы? Я как-то не ожидал подобного вопроса: вот так, прямо в коридоре.

- Не знаю, что и сказать, Соня. Вы застали меня врасплох.

- Как, и вы тоже? Врасплох. Жаль. Я порылся в карманах. Мне казалось, там должно было что-то завалиться.

- Ничего, - заключил я.

- Вы пьяны, Мишенька. Мишенька. Меня опять признали.

- Знаете, я ирландец по происхождению. Так вот, есть такая гаэльская

легенда, по которой Бог купил землю у дьявола и заплатил за нее тем, что было в наличии... что под руку попало. Ха, ха, ха!

Не смешно.

- Извините. - Мне стало стыдно.

- Я попросила тебя прийти, Лидия, потому что наши друзья удивились бы, не будь тебя здесь сегодня вечером. И они очень строго осудили бы тебя. Я не хочу, чтобы все говорили, что у тебя нет сердца...

- Bravo! Наконец-то! И посмотрите на эту широкую добрую улыбку, Мишель... Я сделал последнюю попытку:

- А не пойти ли нам всем в какой-нибудь русский кабаk, прямо сейчас?

- Я никогда не осуждала тебя, Лидия. Я всегда тебя защищала перед всеми. Ты вышла за моего сына...

- Преступление!

- Ты ему очень дорога.

- Откуда вы знаете?

- Ему иногда удается произнести твое имя. "Мама" он говорит очень легко и естественно. А этим утром я застала его с твоей фотокарточкой в руках. Я не понимаю, почему ты нас так ненавидишь. Это была не его вина. Все свидетели аварии это подтверждают. Я начинаю думать, что ты ненавидишь его только потому, что больше не любишь.

Лидия закрыла глаза. На ней было светло-серое платье и белое боа, совсем не к месту в той обстановке. Тогда я этого не заметил, но сейчас я думаю об этом снова, чтобы вспомнить ее получше. Я знаю, что говорю: да, я думаю о ней, чтобы забыть. И потом, от всего этого не останется и следа. К чему же тогда весь этот шум, злоба?

- У врачей очень оптимистичные прогнозы. Он уже без особых усилий складывает слова, даже если они пока еще в беспорядке. С буквами тоже весьма многообещающая ситуация, он делает большие успехи. Гласные все получаются. Еще немного терпения, и ему удастся произнести весь алфавит. Без всякого сомнения, обязательно. Бог нас не оставит.

Я совсем уже ничего не понимал, я погружался в эйфорию.

- Карашо, - сказал я, потому что знал это слово и оно подходило, так как означало, что все в порядке. Послышался смех - там, где праздновали, но мне показалось, что он доносился откуда-то сверху, с самых верхних этажей. Какой-то старик растерянно искал, где выход. За последние десять минут я ничего не выпил и уже забеспокоился: еще немного, и я начну приходить в себя. Португальская девочка ходила туда-сюда с широко раскрытыми глазами: ей, верно, и десяти еще нет, а вокруг столько интересного. В одной руке Лидия держала серебряную сумочку, в другой - длинный черный мундштук, это всего лишь моя злопамятность, мои безвредные колкости. Ветер играет в ее волосах, здесь, на пляже, где я сейчас пишу, нет, это лишь воспоминание, выпорхнувшее из шелеста белых страниц. Официант подошел сказать Соне, что больше ничего не осталось, на что она ответила, что вечер окончен и это уже не важно. Было еще несколько цыганских ай-ай-ай, но шутки уже не действовали. Сжатые кулаки говорят лишь о бессилии кулаков; смелость сама по себе сомнительна, она не может тратиться попусту, она помогает жить. Двухногие скрипки становятся на колени и просят, и те, чей голос надрывнее, ставятся в один ряд с шедеврами Страдивари. Слишком хрупкие инструменты устраняются, потому что от них требуют еще и стойкости. И сеньор Гальба здесь, среди равных ему, обсуждает качество исполнения, вон там, справа от другого неизвестного знатока нашей природы. У этого есть будущее: пожертвуем ему. Проигравшие упиваются будущими победами. Острая боль

пронзила мой затылок, там, где провели смычком.

Две женщины говорили одновременно, не слушая друг друга: может, речь идет о всеобщей злобе, слишком большой для меня одного.

- На следующей неделе мы едем в Соединенные Штаты. Они там чудеса творят. Мы должны попробовать все. Мы все живем надеждой.

- Мы живем по привычке.

- Мы должны продолжать бороться и верить, изо всех сил. Мы не имеем права позволить себе пасть духом...

Прошел директор музыкальных театров, принося свои извинения: он перепутал то ли пальто, то ли дверь. Соня обратилась ко мне:

- Я потеряла мужа тридцать три года назад, Мишель. И я давным-давно сама бы уже умерла, если бы не могла чтить его память. Я живу хорошо. У меня машина с личным шофером, драгоценности. Я хочу, чтобы он был спокоен, по крайней мере в том, что касается материальной стороны. Больше всего он заботился о моем благополучии. Он меня обожал. Глядя на меня сейчас, вы, наверное, найдете это нелепым...

- Да нет, отчего же, совсем нет, - затараторил я, как будто она поймала меня на лжи.

- В молодости я была хорошенькая. Он очень меня любил. А сейчас нет даже его могилы. Мне некуда пойти навестить его. Мне не нужны ни драгоценности, ни персональный водитель, мне все равно. Но это для него. Я хочу, чтобы все было так, как он хотел. Это его желание, его память, его забота. Лидии этого не понять, сегодня обходятся без смысла жизни, живут так просто, без всего.

Лидия яростно раздавила окурок в вазе с гладиолусами.

- Эти завывания скрипок, мне уже дурно, - сказала она.

Она быстрыми шагами направилась по коридору и, открыв дверь, застыла на пороге, ожидая меня. Я с тревогой взглянул на Соню. Мне что-то сильно не хотелось идти к этому мужу и сыну, который скрывался где-то в глубине квартиры и заучивал алфавит. На этот раз сеньор Гальба явно переборщил, должны же быть какие-то границы и для его шалостей.

Соня взяла меня за руку.

- Чего вы хотите, эта женщина ужасно... не то чтобы резкая, нет, стремительная. Да, именно, стремительная. Входите, Мишенька, будьте как дома.

Глава VII

Я не ожидал такой резкой смены декораций: русской кулебяки здесь не было и следа. Библиотека, все очень строго и как будто затянуто матовостью синих абажуров. За стеклами книжных полок обязательно должны быть Пруст", да и вся Плеяда. Английские кресла в задумчивой праздности вспоминают былые времена: здесь, конечно, много читали, курили трубку и слушали умные речи. В простенках между книжными шкафами - две спокойные белые маски в чьих-то нежных руках. Букет цветов на старом-престаром столе и глобус, выпятивший свои океаны, как дряхлый актеришка, поворачивающийся к публике в профиль, лучшей стороной, разумеется. Лидия вся застыла: прическа, лицо, платье, меховой удав... Черная как смоль старуха с несмываемой улыбкой. Я слишком много ждал от усталости: надеялся на полную потерю чувствительности, а получил лишь рой неотвязных мыслей; впечатление странности только усиливало панику перед надвигающейся реальностью; меня преследовала близость неотвратимого; тревога сводила на нет все мои попытки держаться стойко. И

спрятаться было некуда. Оставалось принять бой, позволить уйти, но продолжать любить, чтобы сохранить живой. Чайки, воронье, пронзительные крики, раздираемая плоть, последние мгновения, пустынная площадь на взморье, твой лоб под моими губами, отблеск женщины - и тяжелые веки, борющиеся со сном: только бы не пасть, как пали другие щиты.

На софе в центре комнаты, нога на ногу, сидел человек. Нельзя не признать, он был очень красив, это верно; и все-таки лицу его не хватало, пожалуй, некой изюминки, своеобразия, именно из-за чрезмерной правильности и тонкости черт: безупречная внешность героя-любownika; впрочем, первое впечатление легкомысленности и беспечности сердца затмевалось выражением мягкости и доброты, которое казалось естественным для него, как врожденная любезность по отношению ко всему и вся. Лет ему было около сорока; он знал, что нравится окружающим, и в то же время как будто извинялся за это. Между тем я отметил странность его взгляда, который можно было бы назвать, как в старых романах, "взгляд с поволокой", если бы не отсутствие всякого блеска в глазах. На нем был блейзер цвета морской волны, с металлическими пуговицами, и тщательно выглаженные фланелевые брюки. Черные туфли, начищенные до блеска. Открытый ворот, галстук "Аско" синего цвета, белый воротничок. Безупречен. Один из тех людей, которые, что бы ни надели, всегда похожи на картинку из модного журнала. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел прямо перед собой, не обращая на нас ни малейшего внимания.

В кресле у зашторенного окна сидел здоровый детина: джинсы, майка, бицепсы, кроссовки; листал комиксы.

- Добрый вечер, Ален.

Ален подождал немного, как если бы звуку требовалось определенное время, чтобы дойти до него, потом как-то резко поднялся. Он стоял, держа одну руку в кармане блейзера, и был чертовски элегантен.

- Мой муж, Ален Товарски..., Мишель Фолен, Друг...

Товарски еще немного подождал, внимательно вслушиваясь в каждое слово, потом поднял ногу, согнутую в колене, и так и остался стоять, непонятно зачем.

- Клокло баба пис пис ни фи́га, - произнес он, вежливо указывая на ковер, как будто предлагал мне присесть.

- Спасибо, - ответил я, справедливо полагая, что этим ничего не испорчу.

Телохранитель оставил свое занимательное чтение на столике и поднялся.

- Чуть-чуть чёрта абсенто так так? - предложил Товарски.

Я осмотрелся, но нигде не заметил никаких напитков.

- Гвардафуй пилит плато и шашлык того, - сказал Товарски. - Пулеле, правда. Полигон Венсена?

Разговорчивый, однако.

- Ромапаш и ля ля, гипограмма и лягуш. Кококар побелел, но кракран за... за... пши... пши... за клукла...

Мне все это начинало надоедать. Я знал, что будет веселенькая ночь, но в подобных развлечениях не нуждался.

- Цып-цып, - сказал я. - Каклу каклу. Апси псиа.

Товарски, казалось, был очарован.

- Пуля-дура задела Монтэрю, - сообщил он мне. - Кларинетта в кости и реве ве ве ве. Соня сияла от счастья.

- Видишь, Лидочка, Ален уже произносит целые слова, очень слитно...

- Попрыгун попевал, - объявил Товарски. - Пчелы чают почему...

- Мы разучиваем вместе басни Лафонтена, - объяснила Соня. - Очень хорошее упражнение.

- Пишины Карпат вечать на уста...

Черт. Это, наверное, были стихи. Я плохо знал современных поэтов, я остановился на Элюаре. У Лидии слезы стояли в глазах, значит, это должно было быть что-то очень трогательное. Но я не умею плакать; и потом, бывают моменты, когда я готов схватить ужас за горло и свернуть ему шею, а чтобы он быстрее загнулся, заставить его смеяться. Иногда смех и есть самая страшная смерть ужасу. Товарски, мне нечего здесь делать. Мне и у себя всего хватало. Полная чаша. "Клапси", пасодобль, дрессировка, двуногие "Страдивари", струнные, сыт по горло всякими чудесами. Может, мне было далеко до Страдивари, может, и в Бейруте лучше держали марку, но из меня вытянули все, что еще оставалось. Бедняга Товарски, я понял его с полуслова. Пресловутая жаргонафазия Верника¹⁵, как же, знаем. Один мой друг разбился на своем самолете, и теперь, вот уже два года, говорил на каком-то только ему понятном языке. Часть мозга задета - и всё, полная потеря контроля над речью. Слоги составляются в слова сами собой. Ты знаешь, что хочешь сказать, но то, что в конце концов говоришь... Бесхозные слова громоздятся друг на друга как придется. Но ты уже этого не знаешь. Долгое время ты даже не отдаешь себе в этом отчета. Мысль-то, вот она, как и была, ясная, четкая. Просто она не может больше выразиться в нужных фонах, вот и все. Слова ломаются, деформируются, сливаются друг с другом, выворачиваются наизнанку, пускают фразу под откос, взрывают ее, ничего уже больше не выражая, черт знает что такое. На этом можно бы было даже построить какую-нибудь идеологию. Новую диалектику. Освободить наконец речь от мысли. Наговорить еще сто миллионов жаргонизмов. И все это сопровождается логореей, причем сам об этом, естественно, и не подозреваешь; ты уже не можешь остановить свое словоблудие, все тормоза сорваны, никакого контроля.

- Мучат индюки, но палочки пополам, - галантно предложил Товарски.

- Спасибо, не курю.

- Мишель!

- Я только защищаюсь, Лидия. Вы привели меня сюда, чтобы доказать, что я вовсе не рекордсмен, но я могу хотя бы защищаться. О да, в мире есть еще Бейрут, пытки и дети, умирающие от голода, но уверяю вас, мне от этого не легче. Признайте также, что не все цепи биологические, есть еще те, которые куем мы сами, и, значит, мы можем их разорвать.

- Легче всего прятаться за общие фразы, - сказала Лидия.

Товарски трижды повернулся вокруг себя. Потом очень низко наклонился, выпрямился, поднял одну пятку, другую. Руки при этом совершали какие-то беспорядочные движения. Он встал на четвереньки. Телохранитель помог ему подняться.

Я держался стойко. Сеньор Гальба, или какой другой наш мастер дрессуры, не мог похвалиться оригинальным трюком. Этим он не снискал бы ни восхищения публики, ни даже жидких аплодисментов в "Клапси". Классический прием. В афазии человек часто не в состоянии координировать свои движения, согласуя их с тем, что он хочет сделать. Он уже не может справиться с самыми обычными предметами, и все жесты его странны и внешне бессмысленны.

- Хрупящий бизон гладит поло, - сказал Товарски. - Есть мустабак и папик, но митенки потрябят маленьки...

- Да, но у зуавов их полно, - не сдавался я. Соня была счастлива.

- Ален все лучше и лучше выговаривает слог, - сказала она. -

Профессор Турьян очень надеется...

- Замолчите, Соня, пожалуйста...

Что казалось особенно жестоким, так это красота Товарски. Изящество черт, его утонченность, обаяние. Такая сдержанность, элегантность, оксфордский выпускник, ни больше ни меньше; он, должно быть, хорошо учился. И это его выражение любезности, мягкости. Превосходного качества инструмент. Какие волнующие терции можно было извлечь из него. Сейчас только я понял безжизненность взгляда: зрение, вероятно, тоже было затронуто.

- Заметьте, - продолжал я, - я не верующий: не думаю, что боги-обезьяны все подстроили заранее. Стоит только сходить в зоопарк и посмотреть на их потомков, сидящих в клетке, чтобы убедиться: они творят неизвестно что. И потом, время от времени можно ждать какой-нибудь банан, например, - кидают нам подачки, поощряя наше бессмысленное кривляние.

- Немного кака зазатык и соло соло? Я был за диалог. Хватит молчания и разобщенности.

- Соло, соло, - подхватил я. - И даже громапуй соло.

Лидия обернулась ко мне, дрожа от гнева:

- Прекратите, Мишель.

Но вся ярость, бессилие и отчаяние, слитые воедино и сдобренные алкоголем, ударили мне в голову. Я знал, что скоро рак сотрут с лица земли и мы вырвем один за другим все гнилые клыки, вонзившиеся в наше тело, но теперь я был побежден, и мой голос шамкал, заглатывая пыль.

- Работая баба, Работая боно! - орал я. - Нырни в котел с дерьмом, потом скажешь, тепло ли там! Яволь Гитлер гулаг Медор! Простите, но это все, на что я сейчас гожусь!

Товарски, казалось, всем этим очень заинтересован. Может, мои слова дошли до него, не знаю уж, благодаря какой язвительной случайности. Случай иногда до крайности непристоен.

- Мило тото мюлю дидья? Мюлю дидья? Дидья тьятя бю лю?

Я закрыл глаза. Дидья тьятя бю лю. Он пытался сказать: "Лидия, я тебя люблю". Никакого сомнения. Нет сомнения в чудовищности преступления. Подлинный "Страдивари" и сволочь Паганини, измывающийся над инструментом. Я услышал иронию в голосе Лидии:

- Теперь вам лучше, не так ли, Мишель? Вы чувствуете себя немного... меньше? Меня мутило.

- Дидья тьяля бябю...

Дидья тьяля бябю. Воля мучительно искала нужного "Лидия, я тебя люблю" и не могла попасть в точку.

Ален Товарски замолчал. Я поднял глаза. На софе возле него лежали тома Жюль Верна, красный переплет серии "Необыкновенных путешествий". А у него был взгляд слепого. Старуха, должно быть, садилась рядом с сыном, чтобы читать ему вслух. Он не мог понять то, что она ему читала: до него слова тоже доходили искореженными. Ничего. Она все равно читала ему вслух "Необыкновенные путешествия".

- Тино Росси, - сказал я. - Камю под мандолину, Достоевский под гитару и Данте под барабанную дробь.

Я развернулся и вышел с неописуемым достоинством. В зале еще оставались какие-то гости, они были слишком стары и не могли уйти самостоятельно. Я причалил к столу, к остаткам недавнего пиршества.

- Нечем укрепить дух спартанца, - пожаловался я официанту.

- Да, все выпили. Я тут спрятал бутылочку шнапса, хотите?

Он налил мне в стакан, но я взял всю бутылку. В конце концов, было всего три часа ночи.

- Нужно разорить закрома, - предложил я.

- Здесь так не принято, месье.

- Нужно разорить закрома несчастья. Да здравствует Китай. Когда вас всего восемьсот миллионов, вы в меньшинстве. Просто нужно научиться воспроизводить себя.

Я налил официанту:

- Давайте. Из братских чувств. Конец эксплуатации, классовой борьбе, диктатуре пролетариата. Слишком большое удовольствие для этих, наверху. Железный каблук, гладиаторские бои, и того, кто остался в живых, тоже обдурят, погоди. Ваше здоровье.

Он был еще молодой, с веселым лицом, зеленый совсем. Ему, очевидно, не было и двадцати, он еще мог ждать.

- Заметьте, вы, может, пройдете мимо и вас это не коснется. Жертвы не выбираются, все зависит от случая. Мне приходилось даже встречать счастливых цыган. Есть и грузины, которые живут до ста двадцати лет, они едят йогурт. Йогурт, старина, все, что надо. Мы не едим йогуртов в достаточном количестве, от этого все несчастья.

Он забавлялся. Ему казалось, что я пьян. Молодость, что они понимают.

Я отправился в гардероб и забрал свой плащ и шляпу. Кажется, всё. Ах да, моя дорожная сумка. Но я еще мог ее найти. Я как-то сразу почувствовал себя лучше. Я терпеливо ждал Лидию в коридоре. В конце концов, он ведь ее муж. Им было что сказать друг другу. Шутка. Я порылся в карманах, ища сигареты; я забыл, что бросил курить еще два года назад. Янник настаивала, она говорила, что от этого бывает рак. Когда обе женщины вышли ко мне в коридор, я все еще чему-то смеялся. Усталость мне очень помогала, вытягивая из меня последние силы; во всем теле, в крови я вдруг почувствовал прилив доверия ко всему, уверенности, которая поднималась во мне, как тихая песня. Я вовсе не так наивен, я понимал, что это всего лишь второе дыхание, подачка, чтобы поощрить меня. Да, я буду продолжать. Каждый из нас знает, что он рожден для того, чтобы быть побежденным, но мы знаем также, что никому и никогда еще не удавалось и не удастся сломить нас. Кто-нибудь другой, неважно кто, где и в каком заоблачном будущем, разобьет наши цепи, и мы, мы сами, своими руками, начертим линию нашего завтра.

Лидия шла вся в слезах. Соня заботливо поддерживала ее под руку.

- Извините ее, Мишель. Лидия... да и вы тоже, пожалуй, не привыкли к такому. Сегодня все хотят быть счастливыми... все, даже евреи! Мы, старики, мы научились...

Лидия высвободила свою руку, как мне показалось, несколько резко. Ей не хватало уважения к старикам.

- Это правда, Соня. Вы научились. Вы так с этим свыклись, страдание для вас теперь вторая натура. Оно заменяет вам смысл жизни. Я забрала у вас сына, и десять лет он был со мной счастлив. Кошунство! Теперь несчастье вернулось к вам. Все встало на свои места. Вы знаете, зачем вы живете: чтобы доказывать свою решительность. Замечательно. Теперь несчастье вернуло себе отнятые права. Нашу семью истребили не напрасно.

- Не слушайте ее, Мишель. Ей неизвестно... то, что ведомо нам, старикам. Все сегодня требуют счастья. Это у них пройдет.

- Страдайте, доверьтесь моему слову, не ждите завтрашнего дня, начинайте собирать слезы прямо сейчас... Вы знаете, что она читает ему вслух Жюль Верна, эта...

- Лидия, - прервал я ее, так как ожидал худшего.

Соня светилась.

- Ему очень нравился Жюль Верн, когда он был маленьким. Да это и неважно, что читать. Он плохо понимает слова. Но он слышит мой голос.

- Вам выпала большая удача, Соня. Я украла у вас сына, но жизнь вам его вернула. Благодаря дорожной аварии. Есть в мире справедливость. Я потеряла мою маленькую дочку, зато вы вновь обрели своего сына...

- Ну, хватит, - вмешался я. - Мы во Франции все-таки, не где-нибудь...

- Лидия не злая. Она просто не Привыкла к несчастью.

- Да, я плохая еврейка. Знаете, Соня, если когда-нибудь ваша нога ступит на землю Израиля, вас либо поместят в музей, либо выгонят вон.

- Ей не понять, Мишель. Она бунтовщица.

- Слышите? Бунтовщица, Худшее из оскорблений. Нет, в самом деле, это бесподобно. Принятие, подчинение, покорность. Кто это сказал, что евреи не были христианами? Идемте отсюда. Если когда-нибудь, слышите, Соня, я буду счастлива, обещаю, я пешком отправлюсь в Лурд16, чтобы обрести спасение... Старая дама долго держала меня за руки:

- До свидания, Мишенька, до свидания... Позаботьтесь о ней как следует...

Она твердо взяла меня под локоть и не отпустила, пока я не оказался за дверью.

Глава VIII

Сидя в машине, безразличная ко всему, закрыв глаза, положив голову на подставку, специально для того предназначенную, она ждала, молча, в то время как вокруг нас суежилась невидимая команда помощников, тех, что с таким вниманием следят за чемпионами мира, слушают стук их сердца, направляют шаги, внимают их просьбам, протирают лобовое стекло, заправляют полный бак и желают доброго пути.

- Я, конечно, вела себя гнусно, но сейчас мне лучше. Где это, Каракас? Знаете, мне даже предлагали одну должность в Организации помощи беженцам, в Бангкоке. Это слишком для меня, я знаю. В какой момент мы превращаемся из просто несчастной женщины в злобную стерву?

- Спросите об этом у нашего общего директора музыкальных театров, Лидия.

- Я ничего не понимаю в любви.

- Это оттого, что сама любовь все понимает, на все имеет ответ, все решает, и нам остается только позволить ей делать свое дело. Достаточно взять абонемент, проездной на все виды транспорта.

- Я любила его, по-настоящему, десять лет. А когда я перестала его любить, я постаралась полюбить его еще больше. Вот и попробуйте понять.

- Чувство вины. Нам стыдно. Мы не хотим этого признавать. Мы сопротивляемся. Чем меньше мы любим, тем сильнее наше противодействие. Иногда до того напрягаешься, что это вызывает одышку. К тому же что им нравится, этим, наверху, так это вовсе не наши победы или поражения, нет, они в восторге от красоты бесполезности наших усилий. Вы уже пробовали королевское маточное пчелиное молочко? Говорят, придает сил.

- Я не понимаю, как любовь может кончиться...

- Да, пожалуй, это дискредитирует само учреждение.

- Иногда все уже кончено, а ты этого не замечаешь, по привычке... -

Она осеклась и испуганно посмотрела на меня. - Который час?

- У нас уйма времени.

- Когда Аллен вышел из больницы, я сделала попытку. Мы по-прежнему жили вместе. Он теперь страдал частичной потерей речи: жаргонная афазия, совершенно невозможно общаться...

- Это как раз должно было все несколько упростить, разве нет?

- Знаете, Мишель, в вас говорит уже не цинизм, а... смерть.

- Стараюсь как могу.

- Так вот. Он стал слишком говорлив, потому что у страдающих этим видом афазии умственное сдерживание речи нарушено, и они беспрестанно лопочут что-то на своем языке... Нельзя же бросить человека в несчастье только потому, что вы перестали его любить... Но нужно ли оставаться рядом с ним именно потому, что вы перестали любить?

- Пора кончать с психологией, Лидия. Она уже примелькалась на афишах нашей жизни. Нужно сменить программу. Я поговорю с дирекцией.

- Порой я спрашивала себя, не придумала ли я удобного оправдания, утешаясь тем, что перестала его любить еще до того, как случилась авария... Вот что страшно. Разлюбить человека и бросить его только потому, что он... так изменился... Очень красиво, да?

- Просто конкурс красоты, вне всяких сомнений.

- Он изменился. Он стал кем-то другим.

- Скандал! Верните деньги!

- И еще. У меня было извинение: пусть неумышленно, но он повинен в смерти моей девочки. А если это тоже, эта ответственность, которую я приклеила ему на лоб, - не было ли это еще одним оправданием, чтобы уйти от него?

- Психология щедра на всякого рода вероятности. Набор вариантов неисчерпаем. К тому же позволяется плутовать. В этой игре можно подкидывать, скрывать, заменять фишки. Допускаются любые приемы, только вот ставим мы всегда против себя. Так как если есть неограниченное количество фишек и такое же число комбинаций, то в выигрыше всегда только один игрок - ваше чувство вины. И все же, кто бы мы были без психологии - звери? Должно быть, весело им живется, нашим братьям меньшим. Есть один поэт, Фрэнсис Джеймс, он оставил нам одно очень красивое стихотворение. Называется: "В рай вместе с ослами".

В ее глазах промелькнула дружеская усмешка.

- Вы в конце концов добьетесь чего хотите, Мишель. Вы как тот гуттаперчевый акробат из "Клапси", о котором вы мне рассказывали: так ловко скручиваете себя и так неистово, что скоро свернетесь в кулак и сможете поместиться в шляпную коробку.

- Эй, нужно же что-то делать со своей чертовой жизнью.

- К чему все эти крики, Мишель?

- Крик всегда был вершиной человеческих достижений. Все люди лепечут что-то себе под нос, каждый на своем жаргоне, и человечество до сих пор не нашло языка более или менее связного и понятного для всех. Но оно, по крайней мере, кричит с одного конца света на другой, и они-то, эти крики, вполне понятны. Я не говорю, что над нами сжались, Лидия. Я не говорю, что придет конец жестокости и послабление нашим мукам. Я не знаю, придет ли когда-нибудь Спартак, а вместе с ним и конец рабству, но я знаю, что уже сейчас среди нас есть великие разрушители цепей. Флеминг победил инфекцию, Сальк - полиомиелит, обуздали туберкулез, и, я уверен, рак доживает свои последние дни. Мы умираем от слабости, но именно она дает нам невыносимые надежды. Слабость всегда жила воображением. Сила никогда ничего не

выдумывала, она считает себя самодостаточной. Гениальность всегда исходит от слабости. Представляете, что было с тьмой, когда человек впервые ткнул ей в рожу горящим факелом? И что же она сделала, тьма? Сбежала, поджав хвост, жаловаться папочке. Нет, это не варварская песнь. Так шепчет слабость, и я почему-то ей верю. В этот самый миг где-нибудь в лаборатории один из нас, слабых, борется сейчас и принесет нам всем победу. Именно в этих экспериментальных лабораториях человечество чертит линию судьбы своей собственной рукой. Там, и только там, обретает кровь и плоть Декларация прав человека. Нас разбили, меня и вас. Мы побеждены, вне всяких сомнений. Но без поражений не бывает настоящих побед. Да, я пьян. Я растеряй. Оглушен. Я бью мимо, мои руки - ветряные мельницы. Конечно. Вполне возможно, мое жалкое доверие - всего лишь эйфория несчастного дурака. Пусть так. Но мы слишком слабы, чтобы позволить себе роскошь быть побежденными.

Она вела очень медленно, как будто боялась куда-то наконец приехать.

- Во всем этом есть что-то непреходящее, Лидия. Нужно видеть во всем и смешную сторону, иначе нельзя. Раньше это называли честью, человеческим достоинством. Отчего вы не... помогли ему?

- Да, и всю оставшуюся жизнь терзалась бы сомнением, не помогла ли я умереть своему мужу, чтобы покончить со страданием, которое я сама не могла больше выносить? Вы, помнится, говорили о братстве... Я попыталась. Но посвящать себя человеку, потому что разлюбил его, несправедливо обрекать себя по каким-то этическим соображениям, все эти метания, что они значили теперь! Претензия на гуманизм, в котором не было больше ничего человеческого, противоестественный поступок, и Аллен ни за что не согласился бы на это, будь он... в здравом уме. Сначала он не знал, что никто его не понимает. Он подозревал какой-то заговор, настоящая мания преследования... Еще в больнице мне довелось наблюдать двух страдающих афазией, которые чуть было не подрались из-за того, что каждый думал, что другой смеется над ним... Такой красивый, такой галантный, он брал меня за руку и неясно говорил: мими малыш, мапуз ко ко ко, и так - целыми часами. Мысль-то цела и невредима, но заперта под семью замками. В придачу и зрение повреждено на восемьдесят процентов. Я видела в нем теперь только виновника аварии... Чем больше я на него сердилась, тем сильнее пыталась любить. Но во имя чего? Во имя чего, Мишель? Во имя какой-то там идеи справедливости, полагаю... или несправедливости. Солидарности всех живущих на земле. Отказ подчиняться варварству. Это был вопрос... культуры, цивилизованности, что ли. Но я вынуждена была признать, что дело здесь уже не в Аллене. Я посвящала себя не человеку, а некой идее о человеке, а в этом уже не было ничего человеческого. Ура нашему знамени! Ура чести! Но это уже нельзя назвать жизнью. И потом, не забывайте о Соне. Ее вера в несчастье полностью оправдала себя, и она оказалась на высоте положения, наша замечательная Соня. Она уже тридцать пять лет жила на одном своем характере: куда мне было с ней равняться. Все свои возвращались к ней потом... Муж, братья и вот теперь - сын. Истребление всей семьи не казалось ей чудовищным: это был своего рода закон. Не знаю, была ли эта заповедь выточена в камне, весьма возможно: она ведь каменная. Долина слез. Мы пришли в этот мир, чтобы страдать. Да исполнится воля Господня! Каменная; мало того, без нее, как оказалось, нельзя обойтись, она служит прекрасным оправданием: невозможно быть счастливым, не стоит и пытаться, таков мировой порядок. Думайте что угодно об "Орестее" и греческой трагедии в целом, но для меня значимым является прежде всего то, что они играли под открытым небом, чтобы кто-то там, наверху, надорвался от смеха. Я хочу сказать, что в гуманности есть место

безумию, и оно уже не принадлежит человеку... Вот. Вы меня выслушали. Очень мило с вашей стороны. Надеюсь, я немного помогла вам... забыть...

- Ну конечно; признаем мы это или нет, но мы всегда рассчитываем, что кто-то придет на помощь...

- Наживка...

- Может, и так; но, в конце концов, мы ведь с вами сейчас здесь, вы и я.

- Расскажите мне о ней.

- Что ж... Как-то она мне сказала: "До сих пор, но не дальше". Она не просто отказывалась страдать: это был вкус к полноте жизни. У нее этот вкус был слишком развит, чтобы согласиться вылизывать обеды с тарелок. Тогда я трусливо ответил: "Раз так, уйдем вместе". У меня был повод рассердиться не на шутку, "Не может быть и речи. Ты говоришь так, как будто один ты имеешь право любить. Мне ненавистна сама мысль о том, что я умру, унеся с собой и смысл моей жизни. Не знаю, что это может значить: быть „очень женственной" или „очень мужественным", если не быть прежде всего тем, кого любишь, жить им. Так что обещай... обещай мне, что не будешь оправдывать все своей печалью, прятаться за ней. Мрачное пристанище среди руин, поросших терновником. Нет! Я не хочу, чтобы смерть прибрала к рукам больше того, что может унести. Ты не станешь запирается в темнице воспоминаний. Я не хочу помогать камням. Мы с тобой были счастливы: теперь мы в долгу у счастья". Что мне еще сказать, разве вот что: я все ей отдал, и все это мне и осталось. Любовь - единственное богатство, которое преумножается, когда его расточаешь. Чем больше отдаешь, тем больше остается тебе. Я жил этой женщиной, и я не понимаю, как можно жить иначе. Хотите воспоминаний? Вот одно, пожалуйста. Она лежала. Она уже очень страдала тогда. Я склонился над ней... Сильная рука, мужское присутствие, поддержка, в духе "я с тобой...". Повеситься молено. Она прикоснулась к моей щеке кончиками пальцев. "Ты так меня любил, что это почти мое создание. Как будто я сделала что-то стоящее в жизни. Напрасно они стараются, те, кто исчисляется миллионами: только двое могут рассчитывать на удачу. Можно считать до бесконечности, но только по два". Что-нибудь еще? У нее были очень светлые волосы... на устах улыбка радости, которую невозможно спугнуть... Она не похожа на вас, вы совсем другая; к тому же дело уже не в вас и не во мне, но в том, что нас объединяет... из-за ее отсутствия... Есть одно известное высказывание, оно многим нравится, потому что представляется мудрым: "Нужно отдать огню его долю, чтобы спасти остальное". Так вот, нет. Почему? Очень просто: огонь никогда не наедается, его доля не гаснет, она горит вечно. Видели вы на улицах стариков, которые идут еле-еле, поддерживая друг друга? Это она и есть, его доля. Чем меньше остается от каждого отдельно, тем больше - от них вместе...

Она подождала немного, слушая ночь, потом спросила:

- Господи, но что же вы собираетесь делать со всем этим?

Я опустил глаза, чтобы сдержаться. Я буду жить до глубокой старости, чтобы хранить память о тебе. У меня будет родина, будет земля, источник, сад и дом: отблеск женщины. Покачивание бедер, развевающиеся локоны, морщинки - штрихи нашего совместного творчества; я буду звать, откуда я. У меня всегда будет родина в лице женщины, и если мое придется оказаться в одиночестве, то только как часовому на посту в ожидании смены караула. Все, что я потерял, возвращается ко мне смыслом жизни. Нетронутое, невредимое, нетленное... Отблеск женщины. Я прекрасно видел, что ты все еще сопротивлялась, ты пыталась слушать меня: так слушают, чтобы признать

закомый голос, родное дыхание; и в какой-то момент, специально чтобы отдалить меня, с той насмешкой, что всегда придает нам сил, ты в бессильной ярости включила кассету, и мой голос заглушили потоки музыки, уже мертвые, записанные. Помню еще какие-то улицы; ты плакала от досады, сердясь сама на себя за то, что отступала перед верой этого одержимого у твоих ног; потом: мы у тебя, и ты, упав в мои объятия, у меня на груди нашла наконец то место, не тронутое несчастьем, где ничто нам не страшно; а я, на ком: лежал этот тяжкий груз ответственности, я понял, что мы спасены. "Не ищи легких путей, Мишель, не отказывайся от любви, используя меня как оправдание: смерть - прозорливая тварь, я не хочу ее прикармливать. Я уйду, но я хочу остаться женщиной". И когда ты, Лидия, шепнула мне, без тени упрека: "Никогда ведь не будет никого другого, только она", я понял, что твое сердце уже полно нежности к той, которую я тебе доверил. Мы возвращались; конец скитаниям, покой тихой гавани. Это был конец травли, как будто мы достигли того пристанища, земли обетованной, где было все, что у нас украли. Даже если речь не шла уже ни о тебе, ни обо мне, но о борьбе за честь, если мы превратились в одно воспоминание, все же за этим стояла победа человека. Не знаю, то ли это шепот моего дыхания, то ли голос старого рассказчика у меня в груди... Пусть вокруг темно, но небезнадежно: свет будет еще прекраснее в этой мрачной шкатулке.

- Когда Янник объявила мне день и час, мы были на озере Эйр, в местечке Иманс, - не думал, что вспомню эти названия, память часто загромождается всякого рода мелкими подробностями. Она заговорила о тебе так весело и с такой дружеской теплотой, что впервые за эти последние месяцы перед нами как будто забрезжила надежда. "Моя неизвестная сестра, я хочу, чтобы ты рассказал ей, как сильно она мне нужна. Я хотела бы повстречаться с ней, улыбнуться, обнять. Одна беда: мы слишком... зависим от биологии, а наша жизнь, она как флакон с этикеткой: „Перед употреблением взболтать". Есть молчаливая слабость, без упрека, но под этим всегда понималось: борьба. Может быть, я ужасная эгоистка, но почему ты не хочешь, чтобы я продолжала жить и быть счастливой, когда меня уже не будет здесь? Я прошу тебя не превращать память обо мне в ревностно охраняемую кубышку своих воспоминаний. Я хочу, чтобы ты расточал меня, чтобы подарил меня другой. Только так я буду спасена, только так останусь женщиной. Когда я буду засыпать, то постараюсь увидеть ее, представить, какая я буду теперь, сколько мне будет лет, как я буду одеваться и какого цвета на этот раз будут мои глаза..."

Она зажгла свет. Усталое лицо, мягкие морщинки - эти следы того, что мы прожили вместе, находясь далеко друг от друга, дарили нам двадцать лет общей жизни. Взгляд, изгиб плеч, беспорядок седых завитков, легко уязвимая наивность в линии губ - все это слилось в одно смятение, тревогу, дрожь...

- Вы из тех французов, которых уже давно нет: строителей соборов... Я понятия не имею о "завтра", Мишель. У меня нет такой привычки к роскоши. Я вся из маленьких "сегодня". Это старая добрая битва, знаю: мужчина, женщина, супружеский союз, во имя и против всего, но у меня нет никакого желания покрыться пылью истории. Я хотела увидеть наши лица, темнота, сами знаете, слишком обманчива. Вы лежали там, рядом со мной, среди изломанных мечей и пробитых щитов, а... я? Зачем я на этом поле брани?

- У меня еще годы жизни впереди, я могу подарить их вам.

- Не надо, я не хочу вашей жизни. Ни за что на свете. Мне и своей достаточно. Вам удалось нечто замечательное: вы взяли у Бога что могли и отдали все это любви. Это слишком возвышенно для меня. Слишком, для

женщины, которая работает. Посмотрите на меня хорошенько, старина. На мне ведь живого места не осталось. Я не пойду в крестовый поход, чтобы освободить могилу супружеского союза. Раньше по крайней мере мужчины одни отправлялись в Святую землю. Я хочу быть счастливой сама по себе. Я не желаю бороться за счастье всего рода человеческого. Вообразите, я даже не умею летать. У меня нет крыльев. Я представляю из себя такую малость и прошу еще меньше. Немного нежности, мягкости, ласки, которую подхватит ведр и унесет с собой - почему нет, отчего и ветер тоже не может быть счастлив?

- Это ваш способ сказать мне, что вы очень требовательны...

- О да. Очень.

- Мы не станем сразу сворачивать горы. Не волнуйтесь, горы сами придут к нам. Если вы полагаете, что во мне проснулся сейчас рыцарский дух, то это ошибка. Я не говорю: "Я вас люблю". Я говорю: "Давайте попробуем". Совершенно незачем расшаркиваться с несчастьем. Я в этом уверен.

Она накинула пеньюар, закурила сигарету и стала ходить из угла в угол, нервно жестикулируя и этой резкостью выдавая ту обезоруживающую готовность ринуться в бой, которая присуща только им, безропотным.

- Прежде всего, речь идет о том, чтобы спасти женщину, так? Она вам сказала: "Сделай из меня Другую"? Но я не хочу помогать вам мусолить одни и те же воспоминания. Увольте. Я разучилась. Может, я больше не способна на это высшее прозрение, необходимое для того, чтобы продолжать борьбу, прозрение, которое называется ослепление. Не помню, кто сказал, что в жизни всякое достижение - лишь неудавшийся провал...

- Ларошфуко?

- Нет, не Ларошфуко.

- Оскар Уайльд?

- Нет, не он.

- Тогда лорд Байрон.

- Нет, и не Байрон.

- Послушайте, Лидия, я предложил вам самое лучшее. Ларошфуко, Уайльд, Байрон. Вершины. Со мной вы всегда на вершинах. Смейтесь, смейтесь, от этого становится светлее. И не говорите: "Я вас плохо знаю". Или, того лучше: "Я боюсь ошибиться". Вы же не станете просить меня не терять головы, когда у нас вдвое больше шансов против непонимания? Закройте глаза и смотрите на меня. Не всякая истина - дом родной. Часто случается, что там нет отопления и просто умираешь от холода. Небытие меня не интересует, и именно потому, что оно существует.

- Вы романтик?

- В том, что касается всякой дряни, да. Вовсе не обязательно отрицать реальность: достаточно просто не идти у нее на поводу. Если бы мы были менее счастливы, то есть не настолько, чтобы забыть о враге, мы бы вовремя заметили, что Янник больна, и, может быть, ее удалось бы спасти. Мы забыли, что счастье, как в пасти акулы, всегда окружено двумя рядами зубов. Находясь сначала вне поля видимости и вне подозрений, враг раскрыл себя, только когда насытился по самое горло. Настоящая гадина, порочная и злобно трусливая. Вы, помнится, говорили о сломанных мечях и пробитых щитах: верно, их всё пребывает. Мы еще слишком слабы. Но эта слабость, уязвимость, наша боязнь мимолетности жизни - не что иное, как сила души. Вы не могли не заметить, что слово "душа" незаметно вышло у нас из употребления. Мы предпочитаем не приближаться к столь высоким материям: сразу видишь свою ничтожность. Может быть, мы с вами смешны: два буйка пытаются поддержать

друг друга, выталкивая один другого на поверхность; что ж, я согласен с честью носить этот клоунский наряд. Скажу больше: именно с плевков и кремовых тортов начало вырисовываться то, что почти уже можно назвать человеческим лицом... Мне не хотелось бы, чтобы вы хоть на мгновение усомнились в моей абсолютной верности той, которой больше нет: это не может умереть, и теперь ваша очередь...

В ее голосе, взгляде еще теплился дух противоречия. Я прекрасно понимал эти повышенные тона, эту безоружную агрессивность, бьющиеся крылья: она запаниковала, обнаружив, что еще способна верить.

- Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, с каким безразличием ко мне, если не сказать, с какой жестокостью, вы торопитесь полюбить еще раз, причем другую, и что, глядя, как вы кинулись пересекать вплавь океан, хочется броситься в воду и помешать вам утонуть... Зыбкая почва, эти отчаявшиеся люди.

- И что?

- А то! Жаль, что я не играю на гитаре, Мишель, у нас бы получился отличный номер. Соня знакома с директором музыкальных театров, она наверняка смогла бы устроить нам прослушивание.

- Иронизируете, ваше право. Каждый отбивается как умеет. Но если однажды я перестану любить, это будет означать только то, что у меня больше нет легких. Сейчас вы здесь, сейчас здесь свет женщины, и несчастье перестает быть нормой жизни. Пять часов утра, там все кончено, камня на камне не осталось, то есть теперь нужно строить заново. После того как все было обращено в прах, наступает момент изначальной цельности, нетронутости. Я пою вам сейчас первобытный дикий гимн - это единственный способ выразить то, что было прожито. "Илиаду" называют эпосом и восхищаются тысячами описанных в ней героических сражений. Гораздо труднее вызвать в памяти супружеские пары, мирно доживающие свой век; а между тем они-то и представляют собой наши самые прекрасные победы. Может быть, вы не поймете" как я любил, и продолжаю любить, другую женщину, и поэтому отвернетесь от меня. Вы скажете: "Хватит нам, женщинам, быть вечно отдающими матерями". Нет! Забудьте про эти скитающиеся и ищущие друг друга половинки. Я говорю вам о паре: в союзе двух сердец уже не разбираешь, кто земля, а кто солнце. Это существо другого порядка, другого пола, из других миров. Вы станете говорить мне о "независимости"; эта пресловутая "независимость" сепаратистов, отдельные уборные "М", "Ж", где мы запираемся, чтобы с нежностью отдаться себе, любимому. "Независимый" мужчина, "независимая" женщина, это шум издалека, с вечно одиноких ледяных полюсов, оттуда, где нет ничего, кроме собачьих упряжек, и где нужно благоговейно слушать и молчать: удел обездоленных. Сейчас вы меня покинете, но некоторые мгновения зацепятся в памяти. Эфемерность живет вспышками, и я не прошу счастья в долг. Я посмотрю на часы, встану, оденусь, поблагодарю вас: "Спасибо, что составили мне компанию, время пролетело так быстро, надеюсь, мой голос не слишком потревожил соседей"; вы сможете привести себя в порядок, причесаться; мы "обретем свое сознание", как говорят ясновидящие, ясновидящие - само слово звучит как кипящее масло в крови. Это так банально, так часто происходит на нашем блошином рынке, мы довольствуемся побрякушками; все у нас легковесно, как паутинки; любовь давно поистрепалась, все затаскано до дыр; мы хотим заглушить эхо, потому что оно повторяется, но чтобы заставить нас самих повторить что-нибудь, сперва потребовалось бы вырвать нам голосовые связки. Вы ничем на нее не похожи, именно этим вы и утверждаете ее постоянство.

- Мишель, Мишель...

Она присела на кровать, рядом со мной. Может, она и слушала меня, но голоса у нас еще не было. Наш голос - пока еще только способ драть горло.

- Боюсь, что жизнь, настоящая, реальная, окажется не на высоте, мой друг. Она слишком быстро выдыхается. К несчастью, есть камни, которые не мечтают об эхе, и таких много.

- Да, один великий поэт прекрасно это выразил, великий поэт, который ничего не написал, не говорил о любви и тем смог выразить, какая огромная пустота без нее зияет в нашей жизни. Мне жаль их. Когда любил женщину всем сердцем, всеми глазами, всеми зорями, лесами, полями, родниками и птицами, понимаешь, что любил ее самую малость и что мир - лишь начало того, что вам еще предстоит. Я не прошу вас принять эту религию вместе со мной; я знаю, что вы хотели только помочь другой женщине, сделать ее смерть менее жестокой. Мы проговорили всю ночь, а я почти ничего вам не сказал, потому что ваши уста говорили мне о ней. Вы так и не узнаете, как сильно она в вас верила и полагалась на вас. Мы часто бывали во Фло: она предпочитала вековые леса морским волнам, столь изменчивым. Она знала, что потеряна для этого мира, но на природе этого не замечаешь. Когда ее спрашивали, кто она по знаку, она отвечала, смеясь: "Светлячок". Она любила прикасаться к черной тверди скал, которые грезят о малейшем трепете, о мимолетности. Мы шли среди деревьев навстречу другой паре, через тысячу лет, через десять тысяч, потому что жизнь сама нуждается в смысле жизни. Она говорила, что я идеализирую женщину и поэтому теряет ее сущность; но для нее так даже лучше: она меньше ощущала свою тленность; лишенная доли своей человечности, она становилась менее смертной. Я прекрасно помню то место, тот путь; там был гладкий темный пруд, освещаемый стрекозами, мерцающим блеском, порожденным солнцем и тенью. Враг уже хозяйничал на земле; наши дни были сочтены; она возлагала на тебя свои надежды. "Я хотела бы, чтобы она пришла сюда через год, когда вернется этот сизый туман, и в ее руке твоя рука вспомнит о моей. Хорошо бы, конечно, немного милых стихов, но что уж там: для поэтов говорить о любви значит лишиться оригинальности, а это всегда трудно. Любовь, союз, о чем мы говорим, когда человек исследует Марс, высаживается на Луну, нет, в самом деле, это отсталость. Впрочем, разве кто-нибудь уже сказал, что все, что есть женского, - мужчина, все, что есть мужского, - женщина? Ведь нет. Я знаю, что невероятно глупо расставаться с тобой по каким-то, так сказать, техническим причинам, все эти проблемы с органами, вирусами, еще Бог знает с чем, но поверь мне: я вернусь к тебе другой женщиной. Я много думаю о ней. Даже забавно, как я забочусь о ее красоте. Я не знаю ее, очень может быть, ей неостанет братских чувств, и тогда нам будет сложно, мне и ей. И все-таки я ей уже помогла: ты не сможешь жить без меня, а мое место - вот оно, совсем готово для другой. Я не хочу уйти как воровка; ты должен помочь мне остаться женщиной; нет более безжалостного пути забыть меня, чем отказаться от любви. Скажи ей..." Но к чему все это, Лидия? Ты знаешь, ты понимаешь: мы здесь, вдвоем. Хлеб давно уже изобрели, реке незачем объяснять роднику, откуда она берет начало, а сердце не рассказывает крови, чем оно живет... Давным-давно известно, как образуются безжизненные миры, от какого ледящего душу отсутствия женских губ. Так пусть они чахнут от грусти, потому что земля обратилась в пыль; мне совершенно безразлично, кто из них теперь прах, а кто Бог, потому что ни один, ни другой не могут быть женщиной. Порой я даже отправлялся взглянуть на соборы - Реймский и Шартрский, чтобы увидеть, как сильно можно ошибаться... Смысл жизни имеет вкус поцелуя. Там мое рождение. Я оттуда.

Она наклонилась ко мне, но по ее лицу, которое между тем было так близко сейчас, я не мог понять: оно ли, то, настоящее, наконец, или она просто давала мне напиток. И вдруг, в каком-то стремительном порыве, она обняла меня, прижав к себе, совсем как там, на дне моей памяти.

- Ты вор, Мишель. Разоритель церквей. Тебя в конце концов схватят за осквернение соборов.

Она взяла мою руку и улыбнулась ей:

- А у тебя, оказывается, кулак. Зачем это, а?

- Чтобы мечтать о кулаках. Кулаков еще нет, они ведь выдуманы Гомером. Легенды, рассказываемые старыми цепями новым, чтобы упрочить их.

- И что же, Мишель? Что дальше?

Мои пальцы коснулись ее губ, долго блуждали по ним, чтобы снова научиться благословлять. Моя рука прошла по ее волосам, забравшим у возраста все, что было в нем самого светлого, по морщинкам - сначала в улыбке, потом на лбу, вертикальная черточка, словно распятая на крыльях бровей, потом вокруг глаз, такие мелкие, так тщательно прорезанные. Жизнь - мастер в таких работах.

- Ну вот, ты здесь, здесь свет женщины. Другие, может быть, в состоянии жить вдали от него, но не я.

Глава IX

Когда, я открыл глаза, бледный день занимался за окнами, проникая сквозь шторы в сопровождении неперемогенного аккомпанемента лязга мусорных бачков. Ночные воды убывали" унося с собой непроницаемость: мебель, вещи, одежда, настенные часы, материализовавшись, теперь со всех сторон глядели на меня. За нормой удаляющейся ночи я мог разобрать одну руку Лидии и ее кисть, свободную и одинокую. Я наклонился к ней, задержавшись еще на мгновение в этом укрытии. Она, конечно, притворялась спящей, чтобы ничего не усложнять. Может быть, она ждала, чтобы я ушел, потому что целая жизнь - это слишком долго, она, должно быть, начинала бояться грядущего. Я встал, оделся. Горничная должна прийти через час, но я хотел быть там раньше нее. Хотел сесть рядом, подождать немного: в конце концов, мне ничего не известно о смерти; к тому же мы никогда не нуждались в словах, чтобы понять друг друга. А между тем мы договорились, что я больше не увижу ее, после...

Совершенно не могу представить, на что я буду похожа. Говорят, вид обычно у всех спокойный, умиротворенный, словом, еще одна гадость напоследок...

Я вернулся в спальню. Лидии там не было. Я нашел ее в кухне. Сел напротив, ничего не говоря, и стал пить кофе. Дневной свет пролился на ее лицо, и... сколь дороги показались мне эти следы усталости, эта осунувшаяся бледность, морщины! Старьевщик утра ничем не разжился и лишь поднял в цене то, что пришел охаивать.

- Лидия, ты не могла бы пойти туда со мной?

- Хорошо.

- А потом мы сразу уедем. Паспорт при тебе?

- Да. Я давно уже готовилась бежать.

- Прямо оттуда - в Руасси. Можно для начала в Мексику.

Зазвонил телефон. Звонили долго. Она не подошла.

- Это Аллен. Он звонит каждое утро... Я не смогу отправиться с тобой так далеко, Мишель. В тебе есть какая-то религиозная одержимость любить

женщину, и в этом больше именно одержимости, за которой теряется сама женщина. Оно слишком возвышенно для меня, твое падение. Ты падаешь слишком высоко. Ты вне себя от горя, и я не знаю, кто ты на самом деле. Уезжай один, а через три месяца, через полгода ты вернешься, и мы попробуем познакомиться заново. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы я ошибалась, мне даже только этого и довольно, но ты должен мне помочь. Это трудно - изо дня в день, шаг за шагом, по миллиметру. Мы всегда еле-еле пробираемся навстречу друг другу.

В настоящий момент ты не являешься самим собой. Ты - это она. Скажу больше: речь уже не только о ней или о тебе, и вовсе не обо мне, но о великой битве. Ты ведешь какой-то дикий бой за честь человека. Ты отказываешься быть побежденным. У тебя сжимаются кулаки. Я прекрасно понимаю, что сейчас речь о нас, обо всех, как и каждый раз, когда предстоит покончить с несчастьем. Я думаю об этих замечательных швейцарцах и шведах, хирургах, помогающих в завалах Бейрута: они спасают не только тех, кого спасают, они делают гораздо больше, даже когда никого не удастся спасти... И ты, ты так любишь другую женщину, что слишком легко отдаешь все.

- Ты взвешиваешь свои "за" и "против", Лидия, Можно ясно видеть, но как научиться ясно надеяться? Любовь - это путешествие, в которое пускаются без карты и компаса и где уберечь тебя может только собственная осторожность. Ты подумала и решила, что это у меня слепая вера: женщина, "Он остался в первой попавшейся часовне и стал молиться". Но скажи мне, кто в наши годы станет говорить такое? Кто осмелится? Кто осмелится сегодня заявить о своем постоянстве? Кто осмелится сказать, что честь, мужество, смысл и смелость быть мужчиной - это женщина? И еще раз: я даже не прошу любить меня, я говорю только о братстве. Я прошу тебя быть рядом со мной и не замечать несчастье назло ему. Нет выше славы для человека. Женщина, мужчина - кости падают и своим раскладом уничтожают всякую случайность. Нам нужно быть слишком набожными, чтобы оказаться среди всех этих карточных соборов.

- Мишель, искусственное дыхание может вернуть к жизни, но жить этим постоянно - невозможно.

- Жить будем потом. В данный момент мы можем только дать шансу шанс. Мы живем в такое время, когда каждый кричит от одиночества и никто даже не задумывается, что кричит от любви. Когда люди умирают от одиночества, они всегда умирают от любви.

- Я только хочу сказать, что, может быть, лучше остаться в Париже, потому что здесь будет гораздо труднее, чем в каких-то сказочных странах мечты, и так мы быстрее разберемся, что самое важное...

Она опустила глаза. Ее рука нервно перебирала крошки на столе. Что-то угасало. Что-то, что-то главное, ускользало от меня, и я не знал, как его удержать.

Зазвонил телефон.

- Вот видите, - сказал я. - Звонки здесь никуда не денутся. У вас ли, у меня... Нужно уехать.

Она держала большую чашку с кофе двумя руками и размышляла. День в разгаре, и мы на кухне.

- Хорошо. Пойду собирать чемодан.

Я вдруг вспомнил, где оставил дорожную сумку: в гримерной у сеньора Гальбы. Там был мой паспорт, путевые листы. Лидия нашла в справочнике телефон "Клапси", но там никто не брал трубку.

Я вспомнил, что маэстро остановился в гостинице "Крийон", и позвонил

туда.

- Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба. Мне ответил женский голос, и я повторил свою просьбу.

- Кто его спрашивает?

- Скажите, что это его друг из Лас-Вегаса. Пауза...

- Вы его друг? Он... он... не могли бы вы прийти сюда, месье? С ним что-то неладно.

- Сердце?

- Нет, но он в самом деле очень странный и... Я узнал этот голос: девушка, которая подошла к нам на улице, возле "Клапси".

- Мы говорили с вами этой ночью, мадемуазель, помните, я был в машине с подругой,

- Прекрасно, значит, вы хорошо его знаете. Он попросил побыть с ним в гостинице и... Я не могу больше здесь оставаться. Он меня пугает.

В трубке опять замолчали, и потом я услышал голос сеньора Гальбы:

- А, это вы. Да, ваша сумка у меня. Вы забыли ее у меня в примерной...

Кстати, вы знаете, что Матто Гроссо умер?

- Я еще не открывал утренних газет.

- Сердце не выдержало. Вот так... раз - и всё!

- Смерт.

- И-мен-но. Сначала уходят лучшие. Я был так привязан к нему, и моя жена очень его любила. Он был старый и боялся оставаться один. Решил уйти первым... Большой трус был. Но я ничего, держусь, у меня контракты на два года вперед. Эти люди знают, что делают, вы понимаете: чем им заполнить вместо меня такой огромный пробел в программе... Мне, конечно" ужасно будет не хватать Матто, но он поторопился. И то, что я говорю сейчас с вами, тому подтверждение. Как полагаете, у меня голос человека, который собирается отбросить коньки с минуты на минуту?

- Вовсе нет.

- Я в отличной форме. Даже провел ночь с женщиной.

- Поздравляю.

- Но я не знаю, что буду делать без этой собаки.

- Найдите себе другую.

- Да, но на это нужно время, это ведь должен быть друг. Здесь одного дня мало. Понимаете, общие воспоминания, привычки. У него была особенная манера положить морду на лапы и смотреть на меня так, будто в его жизни нет ничего важнее меня... Вам это знакомо?

- Еще как! Мне не раз случалось положить морду на лапы и смотреть на кого-то так, будто важнее него у меня нет ничего в жизни... Сейчас я должен с вами попрощаться, Гальба. Меня ждут.

- Этот пес умер преждевременно. Он ошибся. А между тем у него была прекрасная интуиция. Он должен был почувствовать, что мне еще кое-что осталось. Он ошибся в своих прогнозах. Я переполнен жизнью, поверьте мне на слово. И у меня лучший номер в мире. Я еще раз прорепетировал его сегодня ночью. Бе-зу-преч-но! Говорит само за себя. А?

- Я скоро найду за сумкой. Оставьте ее у консьержа.

- Нет, нет, вы должны подняться ко мне. Номер пятьдесят семь. Вы тоже уезжаете?

- Да.

- Далеко?

- В Каракас.

- Очень красивый город. Поднимайтесь сразу в номер. Со мной тут была

приятельница, но она только что ушла. Даже денег не взяла. Такая трусиха. Приходите, приходите. Мне опостытели эти гостиницы. Так я на вас рассчитываю.

- Слушайте, Гальба, у меня сегодня ночью умерла жена. Я должен зайти к ней. Но потом - сразу к вам.

- Прекрасно. Главное, не протрезвейте!

- И хотел бы, не смог.

Я прошел на кухню, я забыл, где оставил что-то, что искал, и теперь уже не знал, что это было. На кухне этого не было, и я прошел в гостиную, потом в спальню, но и там этого не оказалось. Лидия открывала шкафы и бросала вещи в чемодан. Она старалась не смотреть на меня, как будто боялась встретиться со мной взглядом. Может, она спрашивала себя, чего я жду, почему еще не ушел, всегда есть пустые отрезки, провалы, невозможно все время быть счастливым. Иногда и отклеивается. Как-то в Вальдемесе я видел оливы, ветви которых так переплелись, что нельзя было разобрать, где одна, а где другая. Но это с оливами так. Я пошел в прихожую и обнаружил там свой плащ и шляпу. Надел их. Вернулся в гостиную, сел в кресло и долго сидел так, пытаясь вспомнить, чего же мне недоставало и что я так искал. У меня болела рука и грудь, там, откуда вырвали ее. Я встал, тщательно осмотрел все карманы: я был весь в поту; прошел в спальню.

- Извините, у вас не будет платка? Верну при первой же встрече.

Она странно посмотрела на меня, потом взяла в шкафу носовой платок и протянула мне.

- Мне очень жаль, что приходится предстать пред вами в таком виде, - сказал я. - У меня не было времени переодеться.

Она слушала очень внимательно, ничего не отвечала, нарочно не смотрела в мою сторону, выбирала какие-то вещи и складывала их в чемодан. Я присел, радуясь возможности поговорить с кем-нибудь.

- Я не менял рубашку трое суток, моя электробритва в дорожной сумке, которую я оставил у сеньора Гальбы, он артист-дрессировщик и исполняет в "Клапси" свой номер, известный во всем мире. Не знаю, как вас благодарить.

- Вам надо поесть.

- Нет, спасибо, извините, скоро будет лучше.

- Хотите, я вызову вам такси или отвезу сама?

- Думаю, если бы вы проводили меня туда, это было бы очень кстати. Видите, все на этом свете вовсе не случайно, раз мы с вами встретились. Есть ведь доброжелательность, внимание, помощь и поддержка. Я уверен, что сеньор Гальба очень заботится о своих подопечных, хоть и нахожу его занятие весьма жестоким. Думаю, это поражало бы еще больше, если бы сам он не выходил на сцену, а оставался невидимым за кулисами. Так было бы даже более правдоподобно. Вместе с тем, полагаю, мы не должны останавливаться на достигнутом. Всегда можно сделать лучше. Второе дыхание очень ободряет, и мы еще умалчиваем о третьем, четвертом - из скромности. Нужно постоянно расширять границы выносливости, мировых рекордов не существует, всегда можно сделать лучше. Не беречь сил, вот в чем суть. Говорят, когда американцы высадились на Луну, они обнаружили там китайцев. Возмущившись, - ведь всем известно, что китайцы не располагают необходимыми для этого техническими средствами, - они требуют объяснений: "Как вы здесь оказались, как смогли добраться до Луны, наплевав на все законы природы?" Тогда один из этих мелких китайцев, ставя один кулак на другой, показывает в воздухе лесенку и говорит, улыбаясь во весь рот: "Один китаец, два китайца, три китайца..." Видите, не надо опускать руки. Сделаем лесенку и доберемся. Не

знаю уж, какого сеньора Гальбу мы найдем там, наверху, но уши ему пообрываем, точно, за рак, за тиранию, за злобу, за безумие. Мы победим, потому что мы самые сильные; в мире копятя огромные силы, которые пока еще не проявили себя... один китаец, два китайца, три китайца...

Но что я мог против этих глаз, спокойно смотрящих на меня. Я спросил:

- Вы ведете за мной наблюдение?

- Вы не можете так дальше...

- Могу, Лидия. Нет рекордов, которые не побить. Всегда можно сделать лучше. Просто в следующий раз я буду тренироваться в прыжках в высоту, как чемпион Вирен, когда он готовился к Олимпийским играм.

Телефон опять зазвонил. Мне это уже так надоело. Я снял трубку. Прерывистый, напряженный голос:

- Дзидзя? Какакак галетта но но мазабетта ну ну...

Меня пробрал смех. Сеньор Гальба - Другой" тот, что остерегается показываться из-за кулис, - решительно не отступал ни перед чем. Какакак галетта но но мазабетта ну ну... Не брезгует ничем, чтобы достичь комического эффекта. Я протянул трубку Лидии.

- Ваш чемпион мира. Легок на помине. Серьезно, думаю, в данный момент он заслуженно носит это звание.

Она вырвала трубку у меня из рук, глядя куда-то ввысь (так далеко наши оптические аппараты не берут); по дороге туда взгляд ее на секунду остановился на мне. Она чуть не плакала, сдерживая слезы: должно быть, она напоминала себе, что еще долгий день впереди.

- Да, Ален, я всё это знаю. И мы все это знаем. Мы каждый раз узнаем что это Бог, и это наконец закладывается в подсознание. Я знаю, что ты здесь ни при чем. Ты не виноват. Просто глупая случайность. Ты посадил малышку на заднее сиденье, ты вел медленно. Я знаю, чего ты хочешь. Но я не могу тебе помочь, потому что Соня всегда рядом, она мне не доверяет. Они меня уже выставили на днях. Что же, нужно продолжать жить, нужно терпеливо сносить выпавшее нам несчастье, это очень хорошее выражение. Я уверена, что сейчас ты уже понимаешь некоторые слова, ты делаешь успехи. Ты уже можешь сказать "Дидзя" к "блюблю". Дальше пойдет лучше, вот увидишь. Я знаю, что Соня сейчас рядом с тобой и она улыбается. Смелее вперед, смелее, не останавливаясь. Надо продолжать. Ты сумеешь, Ален, вне всяких сомнений" сумеешь... Я добавил:

- Скажите ему: мы победим, потому что мы самые сильные. Долгий поход. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копятя огромные силы, которые пока еще в запасе. Один китаец, два китайца, три китайца. Александр Македонский, Ницше, Че Гевара, Маркс, де Голль, Мао. Израильтяне пошлют свои отряды. Тех солдат, с вершин пирамид. К оружию, собратья. Кровавые стяги тирании поднялись против нас. Мы победим. Мы устраним даже метастазы. Бог справедливости и добра, два уха и хвост. Оле, оле! Три миллиарда спартанцев. Свобода ведет нас. Спиной к стене. No pasaran. Это наш последний бой. До последней капли крови. И припев: мы победим, потому что мы самые сильные. Долгий поход. Один китаец, два китайца, три китайца...

Я почувствовал, как на плечо мне легла рука.

- Извините, Лидия, скриплю немного, но та: всегда, когда гремишь цепями... Я встал.

На улице был цветочный магазин.

- Какие она любила цветы?

- Все.

Она вернулась с букетом белых и сиреневых. Я положил чемодан в

багажник.

- Где это?

- Улица Ваню.

Перед домом стояли какие-то люди. Вышел консьерж, потом парикмахер и его жена.

Они посмотрели на меня с уважением, как будто из-за моего горя я вырос в их глазах.

Мой шуринок умирал в кресле.

- Ты знал, что она собирается это сделать, да? Вы договорились... Ты не имел права позволять ей... Пока живем, надеемся...

- Точно. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копят огромные силы, которые пока еще в запасе. Один китаец, два китайца, три китайца...

Он пожал плечами и попытался съязвить:

- И что ты теперь будешь делать? Косметический ремонт?

Я сказал правду:

- Попытаюсь быть счастливым. Мадам Лидия Товарски... мой шуринок...

Доктор Тэйлер, взяв меня за плечо, сильно пожал мне руку и долго смотрел мне в глаза.

- Мужайтесь, - сказал он, как будто думал, что одной смертью здесь не закончится.

- Доктор Тэйлер, представитель от медицины. Мадам Лидия Товарски.

- Очень приятно, - ответил доктор, и я не смог удержаться от смеха.

Тут раздался голос шурина у меня за спиной:

- Да он пьян в стельку... Больше ничего не придумал. Я обернулся:

- Именно. - Потом прибавил: - И это будет продолжаться. Хватит на всю жизнь, даже на две. Нам есть чем жить.

Они смотрели на нас в замешательстве, стараясь ничего не замечать. Я пришел с другой женщиной, и без особого труда можно было увидеть это нежное понимание, установившееся между нами; поэтому меня так веселили их озадаченные лица. Я вел себя непристойно. Я не уважал несчастье, его права и привилегии, не соблюдал соглашения и приличия. Я дерзко манкировал устав прописанных ему почестей. Вызов, неподчинение, отказ подчиняться - в сущности, это были всего лишь признаки моего неумения жить. Оскорбление величества, осквернение святого, пощечина главе нашего правительства, удар по абсолютной власти; и эта женщина, спокойно стоявшая рядом со мной, как на своем законном месте, казалось, даже не понимает, что здесь - территория скорби. При всем том я прекрасно видел, что Янникова уже не дышала, что она была "мертва", как говорят те, кто ни в чем не сомневается. Еще на ней была моя пижама, и не думаю, что она надела ее по привычке.

Я взял стул и сел возле кровати. Шторы были опущены, но света хватало.

- Ты видишь, она здесь. Она принесла тебе цветы. Совсем как ты хотела. Мы попробуем сделать тебя счастливой. Это будет немного трудно, будут падения, пустота, неловкость, временами нам будет не хватать воздуха, как, впрочем, на любом пути, требующем выносливости; но мы прожили довольно долгую жизнь, каждый отдельно, и от этого при объединении оказывается много несовпадений. Ты знала, что я не смогу жить без тебя, и тем самым оставила так много места для нее. Я никогда больше не заговорю с ней о тебе, как и обещал, потому что ты не хотела стесняться ее присутствием другой, навязывать ей свои вкусы, привычки, ты хотела, чтобы она была свободна от всякой относительности. Я спрячу все фотографии, все вещи, которые ты любила, я не буду жить воспоминаниями. Мне достаточно будет видеть леса, поля, океаны, континенты, весь мир, чтобы любить то небольшое, что остается мне от тебя.

Все прошло так быстро, улетело так далеко. Ты помнишь, в Вальдемосе, те две оливы, ветви которых так тесно переплелись, что различить их стало невозможно? Нас разрубили топором. Конечно, мне больно, особенно руке и груди, в том месте, откуда вырвали тебя, больно глазам, губам, всему, где пусто без тебя; но этот глубокий, неизгладимый след станет святилищем женщины, которое готово ее принять, чтобы благословить и одарить любовью. Она здесь, она смотрит на тебя, чтобы лучше понять, кто я, откуда? из чего вылеплен. Она беспокоится, нужно подождать, мы ведь еще немного чужие друг другу, мы сомневаемся, колеблемся, нам не хватает разногласий, различий, несовпадений, мы еще не открыли обратную сторону друг друга, еще скрыты от глаз наши недостатки и причуды, все наши несоответствия, которые позволяют нам лучше вписаться один в другого, подравнять наши отношения, притесаться, постепенно проникнуть друг в друга, и тогда придет нежность, чтобы дополнить одного тем, что есть у другого...

Я разглядел в сумраке силуэт: он поднял руку, коснувшись моих губ, как будто в моем дыхании таилась какая-то сила, которую можно передать, какая-то слабость, которой нельзя избежать.

Глава X

Еще приходилось сносить чьи-то взгляды, давящее уважительное молчание, скорбный вид, пожимать кому-то руки, благодарить, ничего не ломать, ничего не опрокидывать, да и к чему тревожить их привычный мир: я не был трибуном, я не видел там ни знамени, ни баррикад, мне незачем было призывать к борьбе, говорить о будущих победах, я ограничился тем, что цедил сквозь зубы: "Один китаец, два китайца, три китайца".

Какая-то незнакомая пожилая дама улыбнулась мне па лестнице:

- Мадам Жамбель, я живу на третьем этаже, окна во двор. Мой сын погиб в Алжире.

Я ее поблагодарил. Она хотела меня подбодрить.

Машина стояла как раз около газетного киоска, на первых страницах мелькали заголовки: "ЖИЗНЬ НА МАРСЕ: НОВЫЕ НАДЕЖДЫ".

Дом, где я пишу сейчас, стоит на берегу моря, и я слушаю шепот его волн. Слушаю внимательно, потому что он исходит из глубины веков. Возможно, появятся новые миры, голоса, которых еще никто не слышал, другое счастье, не то, что живет во вкусе поцелуя, и радость, доселе неизведанная, и полнота жизни, для которой мало света женщины, возможно, но я-то живу седым эхом нашего старого мира. Мы всегда живем тем, что не может умереть. Ночи приходят с миром и ненадолго приобщают меня к ее сну. Как только опускаются мои веки, все опять становится таким, каким было. А днем мой брат Океан составляет мне компанию: только у Океана тот голос, которым можно говорить во имя человека. Конечно, я не должен был вести себя с Лидией так, будто то была она: мы еще так мало знали друг друга, все еще было столь хрупким; нас окружал город, улицы, машины - неподходящее место для молитвы, и потом, какая женщина согласилась бы быть лишь храмом, куда приходят молиться вечному? Она слушала меня крайне внимательно, как если бы все, что я говорил, открывало для нее новые истины. Взлохмаченные волосы, замкнутое, почти враждебное выражение лица, весь ее вид будто говорил о том, что она черпает в моем голосе силу, которая отдаляет меня от нее.

- Что с тобой, Лидия?

- Знаете, Паваротти, тенор, даже не смотрит на свою партнершу, когда отдается пению. Иные набожные люди живут только своей верой, и культ

становится самодостаточным, что всегда давало религиям возможность обходиться без Бога.

- Не понимаю, при чем...

- Они спешат к первой же часовне, встретившейся им на пути, чтобы остаться там и молиться. Из басов самый красивый голос у Кристофа Болгарского. Мне также нравится Пласидо Доминго. Потом, есть еще рапсодии; наконец, Бетховен, Вагнер, Вивальди и так далее. Тишине нравятся наши крики, они так идут ей. А григорианские хоры, ты слышал что-нибудь подобное? Их голоса способны долететь до края земли. Нашего директора музыкальных театров пора уволить, Мишель. "Крики отчаяния - самые прекрасные", этот концерт слишком надолго задержался в программе. Мы просто кусок мяса кому-то на обед. И еще: я не хочу быть женщиной теоретически.

- То есть?..

- Церковь. Вера. Культ. У меня нет никакого желания служить орудием культа. О-ты-святая-на-небесах. Я побитая собака, вот и все. Не знаю, кто из нас двоих больше помог другому этой ночью. Положим, мы только поддержали друг друга. Это уже много. Не забуду никогда. Ты вновь открыл для меня определенный смысл возможного, давно мною утерянный. Ты знаешь, как это много: после сорока открыть, что все еще возможно. Мне не нужно большего. Ты вернул мне желание быть женщиной. Кажется, это здесь. Иди заberi свою сумку. Я подожду тебя в машине...

- Лидия...

- Иди. Хватит мне слезы лить.

- Наконец-то, первый проблеск, - обрадовался я. - С удачным началом нас!

Я прошел через холл, уставленный декоративной зеленью, и подождал несколько секунд, пока консьерж демонстрировал мне свое безразличие.

- Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба...

- Пятьдесят седьмой. Здесь его уже кто-то дожидается.

Он неспешно достал из-за уха желтый карандаш и указал им поверх моего плеча. Свенссон расположился" вытянув ноги, у телефона. На нем был его бессменный костюм путешественника: Афганистан, Кашмир, Катманду, Мехико, красные сапоги с серебряными гвоздиками, джинсы, на шее - цепи с эзотерическими символами. Джинсы и кожаная куртка пестрели разными этикетками, как чемодан: мотели Аризоны, ашрамы Подишери, "Hertz rent a car", Акрополь, "Schwab's on the Strip", отель "Нотр-Дам", Диснейленд, страна развлечений. Длинные лохмы и белесая бородка отдаленно напоминали изображение Христа на самых ранних наших литографиях, а массивные темные очки скрывали и оберегали взгляд ребенка.

- Я уже знаю печальную новость, - сказал я ему. - По мне, жили бы собаки так же долго, как и их боги.

- Да, этот закон написан неудачно. Они были очень привязаны друг к другу. Однако, я думаю, сеньор Гальба теперь может вздохнуть спокойно. Все-таки одной заботой меньше: он боялся, что умрет раньше и оставит своего пса в одиночестве. И собака тоже. Я хочу сказать, что Матто был хорошим сторожевым псом, но он боялся оказаться не на высоте, если что случится. С недавних пор они и правда внушали страх друг другу. Стоило сеньору Гальбе почувствовать себя немного усталым, и приходилось бежать за ветеринаром. Вот уже три года я езжу с ним по всему миру. Я пишу диссертацию на тему "Развлечения", в Упсальском университете.

- Не терпится прочитать.

- Пора уже было кому-нибудь из них двоих решиться, но они держались

друг за друга и не давали себе умереть спокойно, если вы понимаете, о чем речь.

- Понимаю.

- Когда вы ни к кому не привязаны, можете уйти потихоньку, просто так...

- Смерть, - сказал я.

- Точно. Может, он и приспособился бы жить без собаки, будь это возможным.

- Стоицизм.

- Вот почему я думаю, что все-таки для сеньора Гальбы одной заботой меньше.

- Наконец-то свободен.

- Точно. Когда Матто Гроссо издох в его гримерке, он позвал меня, и я очень беспокоился: необходимо, чтобы он продолжал выступать со своим номером, ведь это шедевр дрессировочного жанра, публике никогда не надоедает. Так вот, я очень беспокоился и спросил: "Как вы себя чувствуете, senor?" Ему нравится, когда его называют senor, на испанский манер, хотя сам он итальянец из Триеста. "Ничего, Свен, этот пес был очень нервный... Нужно будет сегодня ночью еще порепетировать, ритм куда-то пропал". Он заказал шампанского, а потом вернулся в гостиницу, забрав с собой Джексона, шимпанзе, и Дору, розового пуделя. Этот человек не может обходиться без компании. Он также привел одну особу с улицы, с которой у него установились какие-то мимолетные приятельские отношения. Ему подходят эти девицы: "...потому что они не дают вам времени привязаться к ним", - как он мне объяснил. Надо вам сказать, он очень любил одну женщину, которая ушла от него, и именно это, как я заметил, оставляет самые глубокие следы...

- Точно.

- Мне пришлось выложить двести франков на лапу охраннику, чтобы он позволил им подняться в номер; знаете, шимпанзе, розовый пудель, уличная девица - с такими посетителями возникают подозрения порнографического толка. Я зашел к нему утром помочь уложить чемоданы, сегодня днем у нас самолет. Теперь жду: пусть поспит немного, он этого заслуживает. Самый замечательный номер дрессировщика в мире, вне всякого сомнения. В этом жанре никто не сделал лучше. Нет, месье, никто.

Он замолчал, выжидая, как будто давал мне время перетряхнуть мой жизненный багаж в поисках нужной реплики.

- Я не слишком в этом разбираюсь, - извинился я.

- Возможно, вы скажете, что посвятить всю свою жизнь какому-то легкомысленному номеру... но именно поэтому, месье, именно! Кто скажет лучше?

- Думаю, вам стоит вернуться в Упсалу и дописать свою диссертацию, Свенссон. Извините, меня ждут. Я только хотел забрать сумку, вот и все.

Он устало улыбнулся:

- Понятно. Вы, естественно, предпочитаете Шекспира. Но Шекспир в своих произведениях, месье, слишком уважительно судит о жизни и смерти, тогда как сеньор Гальба их в грош не ставит".

- Я не собираюсь обсуждать шедевры, Свенссон. А теперь...

- Хорошо, идемте.

Мы вежливо постучали в дверь пятьдесят седьмого, но никто не ответил. Тогда мы отправились искать горничную, но та не захотела нас впускать. Надо было прежде позвонить консьержу. Получив разрешение вышестоящей инстанции, горничная открыла нам дверь.

Шторы были опущены, горел свет. Сеньор Гальба сидел в кресле возле камина. Шимпанзе устроился на коленях у хозяина и искал блох у него в волосах. Розовый пудель лежал у кресла и, увидев Свенссона, завил хвостом.

Сеньор Гальба был в пижаме. Глаза широко открыты, лицо осунулось, отчего нос с мощными ноздрями казался еще больше, как будто он устремился на врага. Сеньор Гальба был мертв.

Шимпанзе посмотрел на нас, чмокнул своего хозяина и погладил его по щеке.

Горничная что-то выкрикнула по-португальски и кинулась предупредить дирекцию, что в пятьдесят седьмой привели животных.

Тут Свенссон допустил одну ошибку.

- Джексон! - крикнул он. Не знаю, то ли шимпанзе потерял голову, то ли, напротив, своим поведением доказал замечательное присутствие духа, но он отреагировал на свое имя рефлексом настоящего профессионала. Издав пронзительно-испуганный крик, он бросился к проигрывателю, стоявшему на столике, и сделал точно такое же движение, которое мне довелось видеть на сцене: завел пластинку. Пасодобль *El Fuego de Andalusia* зазвучал во всем своем великолепии, и то, что впоследствии, несомненно, делало честь этому искусству дрессировки, пределы которого определялись лишь застывшим стеклянным взглядом сеньора Гальбы.

В мгновение ока шимпанзе и розовый пудель уже стояли в обнимку посреди комнаты и танцевали пасодобль, бросая на нас испуганные взгляды, будто понимая, что речь идет о жизни и смерти.

- Вот дерьмо, - в сердцах воскликнул Свенссон.

Я решительно направился к дивану, взял свою дорожную сумку и вышел в коридор. Прежде чем поскорее убраться оттуда (мало ли что еще может случиться), я в последний раз взглянул на своего друга из Лас-Вегаса: трогательная картина - последняя честь, которую шимпанзе и пудель отдавали таким образом труду всей жизни. В общем, последнее слово осталось за сеньором Гальбой.

Я кинулся сломя голову вниз по лестнице, а ритмичные звуки пасодобля всё неслись мне вслед от этажа к этажу до самого тротуара, хотя слышать их, естественно, я уже не мог. К тому же мне казалась, что пустой взгляд моего лас-вегасского друга с невозмутимым безразличием наблюдает мои попытки увернуться от палочки дрессировщика. Заметив, что ни машины, ни Лидии уже нет, я постоял немного у входа, с дорожной сумкой в руках, слушая мелодию пасодобль, которая все еще звенела у меня в ушах, и успокаиваясь под монотонный голос громкоговорителя; потом я вышел на дорогу, очутившись в потоке машин и ругательств, повернулся пару раз вокруг себя, щелкая пальцами, чтобы не сбиться с ритма, и, когда какое-то такси наконец остановилось, водитель засомневался, брать ли меня: он боялся за свои сиденья. Я назвал ему адрес Лидии и попросил выключить радио, потому что я слушал музыку. В зеркале заднего вида отражался его недоверчивый взгляд. Я успокаивал себя тем, что я еще в полном расцвете сил и что так можно протянуть еще довольно долго, если не курить и заниматься спортом. В этой эйфории мне вдруг захотелось поболтать с шофером.

- Знаете, продолжительность жизни увеличилась в среднем на семь лет, по статистике...

- Если вам кажется, что я опасно вожу, выходите, никто не держит.

- Нет, вы не поняли... Я просто сделал оптимистическое замечание общего порядка.

- Мне с вами не о чем говорить.

Ехать туда было минут десять, пятнадцать от силы, но я превратил это в целый час. Время взялось за меня с тщательностью ювелира, не спеша вырезая каждую минуту, как драгоценный камень. Мне недоставало какой-то малости до выдрессированного болванчика: щепотка цинизма, или пусть хотя бы намек на низость, дуновение стоицизма, еще несколько капель иронии. Но я любил одну женщину такой любовью, какой может одарить только женщина, и я не умел сдаваться.

Я позвонил и сначала даже подумал, что там никого нет. Потом дверь открылась, и меня встретила, широко улыбаясь, какая-то старушка; она, верно, думала о ссоре влюбленных.

- Входите, входите. Мадам просила подождать. Она вам позвонит.

В гостиной на столе был кофе и горячие круассаны.

- Сварить вам яйцо?

- Нет, спасибо.

- Мадам сказала, что вам надо поесть и поспать немного.

- Где она?

- Не знаю, понятия не имею. Она вам позвонит.

Я прождал около часа. Я знал, что она вернется. Теперь, раз она останется со мной, я даже мог побыть в одиночестве. Потом я собирался сходить за цветами и подарить их той уличной мадемуазель, которая приходила к сеньору Гальбе поддержать компанию, потому что человек не может обходиться одной собакой.

Я долго не снимал трубку. Все-таки еще немного надежды.

- Мишель...

- Знаю, Лидия. Я все понимаю.

- Я сейчас в Руасси. Улетаю на несколько месяцев,

- Ты права.

- Я слушала твои молитвы всю ночь и... там слишком много места. Это слишком велико для меня. Ты возвысил меня, а я простой человек. Боготворить - не значит любить. Ты возводишь соборы, а я помещаюсь в двухкомнатной квартире, восемьдесят квадратных метров. Ты потерял женщину, которая была для тебя всей жизнью, и ты пытаешься свою жизнь превратить в женщину. Она оставила тебе несметное богатство. Я чувствовала бы себя уверенней, будь ты победнее: тогда ты мог бы больше отдать. Я знаю, невыносимо жить без любви. Однако это всего лишь такой образ жизни. Я прекрасно понимала, что делаю. Я была так несчастна, что мне необходимо было помочь кому-нибудь. Я попыталась помочь вам обоим. Я эгоистка, знаю... И еще. Ты говорил о братстве, помнишь...

- Конечно. Это единственное, на что никогда еще не решались мужчина и женщина. Глухо.

- Я не хочу любить святой любовью. Это слишком тяжелый груз.

- И единственный. Не плачь.

- Мишель, так жить невозможно.

- Да? Тогда правильно делаешь, что плачешь.

- Женщина не может жить только мужчиной, а мужчина - женщиной.

- Ничего не могу поделать. Ты для меня биологическая необходимость.

Каждая моя клеточка вызывает к тебе.

- В тебе говорит больше твоя вера, абсолютная, отчаянная и дикая, нежели то, что мы вместе можем сделать с нашей судьбой...

- Да.

- Когда находишь в человеке такую потребность любить, то уже перестаешь понимать, существуешь ли для него, любят ли тебя, или ты просто

орудие культа... Я тоже должна жить, я сама. Я не хочу принимать эту религию. Нам не нужно боготворить, Мишель. Обожествление всегда требует святости, а святость... нас уже ею закармлили. Я бы даже сказала, мы сыты ею по горло; и распутники сегодня имеют, может быть, даже большее право голоса и могут больше нам сказать, чем святые.

- Ты, должно быть, пережила ужасную ночь.

- Я ее пережила, Мишель. И еще я помогла другой женщине. Теперь я уезжаю. Уезжаю, потому что ты пьян от горя и потому что я даже не знаю, кто ты на самом деле. Слишком много сейчас отчаяния, паники в тебе... да и во мне. Так слишком просто. Однажды, когда мы начнем уже забывать о пережитом кораблекрушении, когда мы станем опять сами собой, мы снова встретимся... и познакомимся заново.

- Просветленные...

- Да, и все будет гораздо сложнее. Мы посмотрим друг на друга, скрывая удивление; ты скажешь про себя: "Не может быть!", а я: "Нет, это не он, это невозможно..."

Она рыдала. Я был счастлив. Мы уже вместе.

- Лидия, уезжай и ни о чем не беспокойся. Уезжай так далеко, как только сможешь. Не возвращайся, пока не иссякнут твои сомнения. Встречай других. Живи случайными знакомствами.

Не бойся, это ничего. Я жду тебя, когда бы ты ни вернулась.

- До скорого. Можешь жить у меня, если хочешь.

- Нет, представь себе, я не выношу иллюзий. Уезжай. Я постараюсь протрезветь. Она рассмеялась:

- Смотри не перестарайся.

- Можешь не волноваться.

Выйдя на улицу, я остановился перед цветочной лавкой. "Какие цветы она любила? - Все". Ей нравилась сирень, но нам придется подождать до весны. А сейчас мне нужно было дотащить свое тело до дому, помыть его, накормить, одеть во все чистое и поместить в витрину, к остальным таким же, может, оно еще пригодится. Прохожие как-то странно смотрели на меня: призрак без женщины казался чужим в этих краях. Сквозь крыши проглядывало другое солнце. Я чувствовал, что все окружающее готово втянуть меня в свой оборот, но это уже было делом вечности, вселенной, космического времени, а небо притворялось, но его выдавала необъятность, потому что настоящее небо - маленькое, с ладонь. Я удивился, увидев вокруг столько достойных и гордых мужчин, которые не просили милостыню, столько женщин, в глазах которых не было мольбы. На тротуаре какая-то девчушка в задумчивости: глядела на свалившуюся с ноги туфлю, которую она пыталась снова надеть. Трудная задача, без посторонней помощи здесь не обойтись. Она подняла голову и важно посмотрела на улыбающегося господина, склонившегося над ней: он мог бы пригодиться.

- Никак не могу надеть туфлю, - сказала она. - Попробуй?

Я встал на колени и прекрасно справился с заданием. Белокурое счастье коснулось моей щеки, и я почувствовал такое нежное, легкое дуновение, что закрыл глаза.

- Спасибо, ты хороший. Я живу напротив, Она внимательно посмотрела на меня и решила, что я еще на что-нибудь сгожусь. Она взяла меня за руку.

- Идем, - сказала она. - Я помогу тебе перейти.

1 Руасси - местность к северо-востоку от Парижа, аэропорт им. Шарля де Голля.

2 Андре Ленотр - французский архитектор, мастер садово-паркового искусства; создатель регулярного французского парка с геометрической сетью аллей, правильными очертаниями газонов, бассейнов, боскетов.

3 Бугатти, Делаж - пионеры французской автомобильной промышленности, специализировавшиеся на спортивных, гоночных автомобилях.

4 Ваше здоровье! (англ.).

5 От Мату-Гросу - названия штата в западной Бразилии.

6 На посошок (англ.).

7 Г. А. Киссинджер - госсекретарь США в 1973-1977 гг.

8 Граучо Маркс - один из актеров квартета "Маркс Бразерс", прославившегося в американском комедийном кино 30-х гг.

9 Конечно (исп.).

10 "Андалузский пожар" (исп.).

11 Шумный праздник (исп.).

12 U.T.A. - Объединение воздушного транспорта (фр.).

13 Перефразирует, изменяя смысл, строку из стихотворения Ламартина "Одиночество": "Одно лишь существо ушло - и, неподвижен, В бездушной красоте мир опустел навек!" (Перевод Б. Лившица.)

14 Концертный зал в Париже, открытый фирмой "Плейель".

15 Карл Верник (1848-1905) - немецкий невропатолог, впервые описал сенсорную афазию.

16 Лурдский собор в Пиренеях, место паломничества.